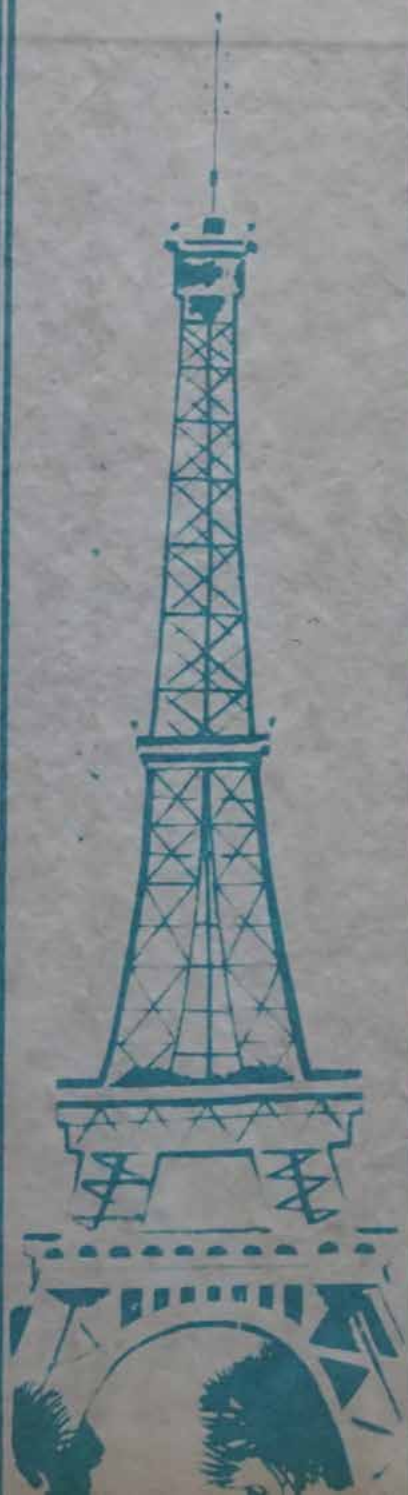


ФЕЛИКС
РАХШИНЪВ



Москва не
мелочается
Славенъ







ФЕЛИКС
ДАХШИНЕВ



Начало на
Славяно
твоясь



84 Даг
ББК
Б 34

Бахшиев Ф. М.
Б — 34 **Монолог на площади Согласия: Художественно-публицистический роман.** — Махачкала: Даг. кн. изд-во. — 184 с.

Новая книга дагестанского писателя, тата по национальности, создающего свои произведения на русском языке, посвящена судьбам двух семей на исторических переломах.

События, описанные в романе, подчинены главной идее: человек жив, пока не потерял чувства Родины.

ББК 84 Даг

Б $\frac{4702010201 - 5}{M 123 - 93} - 93$
ISBN 5 — 297 — 00190 — 0 . Э'

© Бахшиев Ф. М., 1993 г.

Я вспоминаю плас Конкорд, куда мы вышли прогуляться накануне моего отъезда, огромную просторную чашу площади Согласия, искрящийся великолепный фонтан, каменные статуи, олицетворяющие города Франции, и тебя.

Красивый, черноволосый мужчина, ты сидел у подножия статуи и смотрел на меня. В твоём взгляде не было ни тоски, ни вопроса. Но я знал: все узнанное, услышанное от меня, было для тебя серьезно, слишком серьезно.

Я вспоминаю просторную чашу площади Согласия, Париж в солнечном свете, кружева балконов, опоясывающих дома и придающие им невесомость и изящность, облачную белизну Сакре-Кер, Сен-Жермен де Пре, четкую планировку Марсова поля и впечатляющий мемориал на Мон-Валерьян... Я мысленно возвращаюсь к просторному, красивому бульвару Османа и к магазину, над входом которого крупными буквами пламенела вывеска «Осман». Казалось, сама судьба привела меня к этой вывеске, к этому магазину, заставила задержаться, а затем и войти. Здесь я увидел пожилого мужчину и молодого, которому могло быть чуть более тридцати. Это был ты. А пожилой, как позже выяснилось, твой отец, а мой — дядя...

Встреча с твоим отцом была трогательной.

Вспомни, как я зашел в ваш магазин, и твой отец, сидевший в углу, в кресле, любезно спросил:

— Что желаете, мсье?

— Ничего, — ответил я, — увидел вывеску, разобрало любопытство: что могло привести турка в Париж.

— Мсье, — произнес твой отец, — я не турок.

— Простите, если обидел.

— Мой отец приехал из России, — произнес он спустя некоторое время, не слушая меня. — Из России, — повторил он.

— И давно? — заметил я.

— Давно, — коротко ответил он.

— А я, вот недавно... из России.

Я с любопытством оглядел забитые богатыми товарами полки и направился было уже к выходу, как хозяин магазина вскочил из кресла, подбежал ко мне, схватил за руки и тряся их своими, закричал: — Осман, иди сюда скорей, Осман...

И ты появился в дверях, ведущих из торгового зала в комнаты. Ты несколько секунд глядел на нас и хотел было повернуть назад, когда твой отец проговорил:

— Осман, он из России.

Что было потом, ты прекрасно помнишь. Вы усадили меня за стол, и твой отец рассказал мне о себе, о своей жизни, о городе, в котором родился и в глазах у него стояли слезы, а у меня в горле застыл ком, и мне казалось, что бледность растекается по моему лицу, и мысль мучила сознание: но я-то какое имею к нему отношение. Пусть из одного города, пусть даже с одной улицы, но он уехал, покинул землю отцов, когда меня еще не было на свете. А ком в горле не таял. Потом твой отец выложил на стол восточные яства. Провожал он меня целый квартал, а прощаясь никак не хотел отпускать руку, и очень просил, настойчиво просил зайти, если выпадет свободная минута.

А ты пошел со мной до отеля. Шел и расхваливал свой дом, торговое предприятие отца, оставшееся в наследство от деда, ночи Парижа.

— Я вам покажу мой Париж, весь Париж, — говорил ты, улыбаясь. — И вы его полюбите. Париж не любить нельзя.

Я хотел тебе возразить: — он не твой город, откуда у тебя к нему такая любовь? Но вовремя сдержался, задумавшись: ну, а какой же твой? Город, в котором родились дед и отец? О котором ты только слышал? Или все-таки тот, в котором ты издал свой младенческий крик. И тут же другая мысль смутила меня: а может ли Париж стать твоим городом, твоей родиной, если земля твоих предков, твой язык, твои песни и танцы там, далеко на востоке... Там, где ты никогда не был даже во сне.

— Я вам покажу Париж, — повторил ты, — он вам понравится. Вам понравится наша жизнь...

Я слушал тебя, ступая по вечерним парижским улицам, и вдруг невольно представил свой город, родных, жизнь... Я мог бы поведать историю моего города и его людей и тебе. Но поймут ли меня твои сердце и разум. Ведь они — плоды дерева, выращенного на другой почве и привитого иной культурой.

Я решил пощадить тебя. И слушая твой рассказ о Париже, вспомнил свой дом.

Перистые облака, еще несколько минут назад плывшие в бездонном небе сиреневыми лоскутами, окрасились в пепельный, когда Джамал через Ашага-Гапы вошел в город. Бесконечно длинная стена яшеричей тянулась с горы к морю.

Джамал возвращался с виноградников Юсуф-бека. Изношенные, потрескавшиеся чарыки поднимали дорожную пыль, неясного цвета косоворотка не отлипала от мокрой спины, некогда солдатские штаны были живописно усеяны заплатами, а от самого Джамала исходил запах пота. За ним устало шли десятки таких же, если не хуже одетых, мужчин.

У базара Джамал остановился, снял невысокую, выцветшую каракулеву шапку, вытер бритую голову тряпичей и повернулся к мужчинам:

— Спокойной ночи, братья.

Потом заложил руки за спину и спокойным, ровным шагом побрел в сторону площади.

Площадь, мощенная гранитным булыжником, разделяла город на две половины: верхнюю, которая состояла из магалов, и нижнюю, убегавшую ровными узкими улицами к морю. Неказистый, с низкими вросшими в землю окнами дом Джамала ~~стоял~~ на площади, от него ~~убегала~~ вниз улочка, на которой даже в знойные летние месяцы не ~~просыхала~~ грязь.

Джамал ~~отворил~~ калитку, вошел во двор, повесил шапку на сучок, скинул чарыки, снял рубашку и громко позвал:

— Симон, Гаврил, есть кто дома?

Во двор выбежали мальчишки. Увидев отца, один устремился за кувшином, другой за полотенцем, и вскоре Джамал умывался холодной родниковой водой Шейх-Салаха.

Когда Джамал вошел в комнату, на полу уже было расстелено суфре¹: жена положила на середину кукурузные лепешки, несколько кусков овечьего сыра, ~~зелень~~, потом занесла выдавший вид самовар, но начищенный до блеска.

— С ~~чего~~ это ты меня сегодня по-царски кормишь? — шутливо удивился Джамал.

— Глядите-ка на него, как будто в другие дни он голодает! — обиделась жена.

— Да шучу я, — быстро сдался Джамал. — Уже и шуток не понимаешь. Симон, Гаврил, идите есть. И ты радись, жена.

Сыновья сели по обе стороны от отца, жена напротив, и все тихо и степенно принялись есть. Джамал допивал третье блюдечко чая, когда скрипнула калитка и на пороге появился неболь-

¹ Суфре — скатерть.

долгом ужине, а вот что я ел — не разглядел. Ну да ладно, я шу-чу. Будь здоров, сосед, я пошел.

Вернувшись домой, Джамал лег на тахту, сделанную из до-сок и обернутую изодранной буйволиной кожей, и закрыл глаза. Жена на веранде месила тесто из кукурузной муки. Было тихо и покойно. Вдруг на узкой улочке раздались мальчишечьи крики: «бей его, пузатого.», потом все стихло.

Вот, пострелята, подумал Джамал и улыбнулся: да мы сами были такими. Он не заметил, как в комнату вошли Симон и Гаврил с опущенными головами. Лишь после того, как до слуха дошли причитания жены, бросил взгляд на сыновей.

— Кто это вас так разукрасил? — спросил Джамал, не двига-ясь.

— Керим, — пробубнил Симон. — И Назым.

— Наверное, за дело. Как вы думаете, за дело? Молчите? Значит за дело. Если бы умели драться, постоять за себя, не ходили бы побитыми. Не хочу на вас глядеть, уйдите с глаз моих.

В это же время Керим и Назым, оборванные, исцарапанные, стояли перед отцом. Старый слуга, всплескивая руками, громко охал:

— Эти оборванцы никак не угомонятся. Каждый вечер — пота-совка...

— Прекрати, — прервал его Осман. — Кто вас побил?

— Кто же еще, как не дети этого оборванца, нашего соседа Джамала...

— Я просил тебя не кричать, я спрашиваю своих сыновей: кто побил?

— Симон...

— Гаврил...

— Они зря не тронут. Побили — значит поделом. Идите умой-тесь.

— Как же, как же, не тронут, для них ни бога, ни закона нет... — старый слуга засеменял за мальчишками, продолжая яричи-тать как женщина.

3

Осман, полулежа на подушках, думал о предстоящей поездке. С торговыми караванами он ходил в горные районы и прежде, бывал в Азербайджане, но то было славное время, когда встречать его выходили всем аулом, а торговля становилась настоящим праздником для горцев. Сейчас отправиться в горы было рис-кованно из-за разбойников. Черт бы их побрал. Что ни год, их становится все больше и больше. Когда вернется на нашу землю покой и согласие, никто не ведает, кроме одного аллаха.

Осман провел ладонями по лицу сверху вниз, потом налил из чайника, стоявшего на подносе, чай в блюдо и, подняв его на растопыренных длинных тонких пальцах, принялся с наслаждением пить крепкий горячий напиток.

Сейчас идти одному с караваном опасно, продолжал размышлять он. Обдерут, разденут. Без зерных, смелых сопровождающих нельзя. А Джамал тот, кто мне нужен. Бедняк, которому дороги честь и имя. И щедростью Аллахом не обделен: последние чарыки может отдать нуждающемуся. Выбор мой верен. И с собой приведет себе подобных. Нет, что тут и думать, на него я могу положиться.

Осман положил в рот кусок ореховой халвы с медом, наполнил блюдо чаем и поднес к губам.

Табасаранцы должны принести мне выгоду: я им — ткани, домашнюю утварь, они мне — ковры. Их ковры имеют спрос на кавказских рынках. В Баку, Тифлисе за них дают хорошую цену. Из Табасарана мы можем направиться в Кайтаг. Правда, Джамалу я не сказал о том, но ведь он не бросит меня в пути. Не должен бросить.

Опустив блюдо на поднос, Осман принялся с удовольствием есть кишмиш и грецкий орех. Это лакомство он любит с детства и оно не переводилось в его доме.

Итак, решено: Табасаран и Кайтаг. Джамал не осерчает, он понимает душу купца. Да и серчать-то ему за что: оплачу вдвойне. Пока еще можно, надо торговать, делать деньги. А там, глядишь, может и торговле придет конец, земля наводнится разбойниками и грабителями, а у меня другого ремесла нет. Чем владел отец, то передал и мне.

Осман поднялся, подошел к окну и распахнул его. В густой зелени пела цикада. Откуда-то доносился писк неведомой птицы. Залаяла собака, ее поддержала другая, третья, и, казалось, собачьи голоса всего города вдали ополчились на неизвестного беднягу, оказавшегося поздно на улице. Вскоре не стало слышно ни собак, ни писка птицы, только цикада продолжала петь свою длинную бесконечную песню.

4

Ты ушел. А дымок сигареты, оставленной тобой в пепельнице, еще долго поднимался осторожно, боязно, таял в середине комнаты, оставляя после себя лишь запах сладковато-терпкий. Наконец, сигарета погасла.

Сидеть одному в комнате стало невыносимо скучно. Я вышел на улицу. Стоял теплый, тихий вечер. Было безлюдно. На фронтоне кинотеатра висел огромный портрет женщины, очевидно,

героини фильма. Неоновые трубочки и лампы всевозможных цветов раздевали и одевали ее

Дойдя до конца улицы, я свернул направо. И остолебенел. На меня обрушились сразу поэма реклам и гул. Несколько минут я не мог понять, что происходит. Улица полыхала в неоновом свете. Красное, зеленое, желтое, синее пламя выплескивалось на толпы людей и вереницы машин.

Люди и машины шли так медленно, движение было так тягуче и вязко, словно их сдерживала невидимая магнитная сила.

Но людская река все-таки текла, и над ней стояли запахи жаренного мяса и бисквита, духов и сигаретного дыма. И выхлопных газов.

Я вошел в эту реку и, сдавленный ею, поплыл по течению, не ведая, куда она меня вынесет. По обе стороны ярко горели окна порно и сексмагазинов, аттракционов, ресторанов и кафе, салонов эротики.

Кто-то взял меня за локоть. Рядом стоял крепко сбитый мужчина в клубном костюме.

— Мсье, зайдите в наш салон эротики, вы не пожалеете.

— Спасибо, мсье, у меня нет желания.

— Вам его разбудят, — широко улыбнулся зазывала.

— Премного благодарен за услуги, но обойдусь без вашего искусства.

— Не пожалейте потом, мсье, упущенного шанса.

— Не беспокойтесь, довольствуюсь тем, что отпущено богом, — засмеялся я.

Зазывала оставил меня и поспешил искать клиента.

Наконец, я вышел на площадь, от которой в разные стороны уползали улочки, словно шупальцы спрута. Слева от меня на темном здании медленно вращались крылья ветреной мельницы. Вспыхнул свет и погас. Но я успел прочесть: «Мулен Руж». Значит, знаменитый «Мулен Руж»!... я вышел на Пигаль, вопетую корифеями литературы.

Вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Стал озираться. И опять взгляд, острый. Я принялся искать его в толпе, но тщетно. Это он вызвал в душе неясную тревогу.

5

Дюжина тяжело навьюченных низкорослых лошадей, осторожно перебирая копытами, то и дело соскальзывая, лихорадочно напрягшись и удерживаясь на скалистой тропе, медленно поднималась в гору. Слева в голубовато-пепельном тумане бездны пропасти гудела бурная река.

Впереди карavana шел Джамал, пособляя тяжелой палкой из орехового дерева. За ним ступал Осман. Остальные — шесть соп-

ровождающих и двое слуг купца — замыкали шествие. Солнце давно скатилось за гору и низкое остывающее небо укутывалось лиловыми полосами легких облаков.

— Благополучно выбратыся бы с этой тропы, пока не застала ночь, — сказал Осман.

— Выберемся, не тревожься, — успокоил его Джамал. — По этим камням не раз ступала моя нога. — Джамал тихо затянул песню Ашуг Гариба.

— Брат, спел бы громче, — раздался голос из конца каравана. — Уж очень душевно и жалостливо поешь.

— Можно и громче...

Голос у Джамала был хриплый, но довольно сильный и приятный. Наконец, караван вышел к лесу.

— Его нам сейчас и недоставало, — пробурчал Осман и обратился к Джамалу: — может, станем здесь на ночь, не пойдем в лес...

— А какая разница, — хмыкнул Джамал. — Хаспушу¹ и здесь вольготно. За нами-то пропасть.

— Поступай, как знаешь, да надеемся на аллаха.

Джамал ступил в лес и прошел несколько сотен метров, когда мысли его оборвал свист. Он остановился и глянул вперед. Метрах в десяти от него у широкого ствола дерева виднелся человек в большой мохнатой папахе и в рваном бешмете. В правой руке он держал ружье наизготовку.

— Эй, люди, хотите жить — отойдите в сторону, иначе всех перестреляем, — гаркнул тот.

— Ты что из себя хаспуша строишь, — спокойно ответил Джамал. — Сначала узнай, кто мы, с чем идем, а потом угрожай и требуй.

— А я и есть хаспуш, — гаркнул человек в папахе и захохотал. — Сначала узнай, кто мы, с чем идем, — передразнил он. — Знаю, с чем идете, потому и встал на вашем пути.

Он снова захохотал. Дружный смех раздался в темноте леса.

— Перестань страшить нас, тыфу. — Джамал смачно плюнул. Человек в папахе оборвал смех. — Лучше назови свое имя.

— Зачем тебе мое имя, босяк...

— Ну, если тебя отец не нарек в младенчестве именем, то у меня оно есть. Меня звать Джамал.

Человек в папахе опустил ружье, приблизился к Джамалу.

— Джамал из Рукеля, что ли?

— Джамал из Дербента.

— Такого я не знаю, — с сомнением произнес он.

¹ Хаспуш — разбойник.

— Это Джамал из Дербента, я его знаю, — раздался голос из леса.

— Ну и что с того, что он Джамал из Дербента... — произнес человек в папахе. — Чего ты хочешь, — обратился он к Джамалу.

— Поговорить с вашим главарем, — усмехнулся Джамал.

— Иди. — Человек в папахе махнул ружьем. — А вы стойте здесь, ждите. И чтоб никто не пытался убежать, перестреляют мои ребята вас, запомнили? А ты иди за мной...

Джамал не сделал и пятидесяти шагов, как кто-то коснулся его плеча:

— Присядь, дальше не пойдем.

Джамал опустился на пень, оглянулся. Вокруг рассаживались человек двадцать обросших мужчин в изношенных платьях, босые. За веревочными поясами торчали кинжалы, в руках увесистые дубинки.

— Я сразу догадался, что не разбойники вы, — усмехнулся Джамал.

— А кто же мы, по-твоему? — гаркнул человек в папахе.

— Нищие, обездоленные люди. Такие же, как и я сам. Только вас страдания ваши повели на разбой.

— Правильно говорит Джамал из Дербента, — произнес кто-то, — верно говорит...

— Дай послушать... — прервали его.

— Переловят вас, пересажуют. Какие вы борцы... нищие хаспучи...

— Ты что это нас за дураков принимаешь, — гаркнул человек в папахе. — Умник нашелся, поглядите на него.

— Да, умник нашелся, — засмеялись мужчины.

— Чуть умнее вас, — сказал Джамал. — Да ладно, это ваше дело. А я пришел вам не ~~нагыл¹ рассказывать, а просить~~: отпустите караван, его ждут в аулах. И ~~хозяин~~ каравана Осман не такой уж плохой человек. Бедняков не унижает, старается им помочь. Ну, а то, что он купец, это ремесло его, так же как ваше — разбойное дело, — усмехнулся Джамал. — Вы живете своим ремеслом, он — своим. Каждому свое.

— А если мы вас перебьем, — сказал человек в папахе.

— Мы тоже не кур ~~кормим~~. И мы перебьем вас немало. Ты знаешь, кто сопровождает караван? Мустафа — пехлеван, Ревшан, Саид-Хан...

Среди мужчин прошел гул одобрения.

Джамал продолжал:

1. Нагыл — сказка.

— Дадаш-халу, Нариман, Юсуп... Да у каждого по ружью против ваших дубинок.

— Что же ты предлагаешь, Джамал из Дербента? — спросил человек в папаче. — Не можем же мы вас отпустить просто вот так, любая лисица расхохочется над хаспушами.

— Зачем же просто вот так? — засмеялся Джамал. — Осман, я думаю, даст вам денег и ткани на одежду...

— Ну, если так... — протянул человек в папаче.

— И мы согласны, Хасбулат, — загадели разом мужчины. — Ради чего бить своих братьев.

— Так ты Хасбулат из Кайтага, который ограбил казну, раздал бедным, угодил в Сибирь и бежал? Слышал о тебе, слышал... проговорил Джамал, пристально глядя на человека в папаче.

Тот осклабился и трижды с силой стукнул кулаком себя в грудь.

— Да, это я.

Когда подошел Осман, Джамал усадил его рядом и тихо спросил:

— Ты можешь дать им немного денег и ткани на одежду? Гляди, как обносились.

— Да, конечно, Джамал, только бы не было кровопролития и грабежа.

Вскоре в небольшом овражке горел костер. Вокруг него, вольготно расположившись на земле, спали и хаспуши, и сопровождавшие караван. Джамал лежал рядом с Османом, слушал потрескивание сучьев, глядел в темное безлунное небо, и ни о чем не думал. Просто лежал, слушал и глядел. Потом закрыл глаза. Сжавшись дремоту он услышал голос Османа:

— А не унесут они в чащу половину каравана?

— Будь спокоен, — проговорил Джамал, не открывая глаз. — Хасбулат человек слова.

Как только забрезжил рассвет, караван тронулся в путь. До самого Хучни его сопровождали несколько человек Хасбулата. Когда вдали показалась отлогая гора, возвышавшаяся над Рубасчаем, они повернули обратно.

В полдень караван вошел в Хучни. На узкие пыльные улочки высыпал простой люд. По возгласам, взглядам, суетоке было видно, как они заждались купца.

6

Джамал отворил калитку, вошел во двор, распахнул ворота. — Заходи, гостем будь...

Лошадь ступила во двор и встала.

— Иди, иди, никто тебя не обидит. — Джамал хлопнул легонько ладонью по крупу.

Во двор выбежали из дома жена и дети.

— Где ты пропадал целый месяц. Я уж извелась, мальчики глаза проглядели, думали, не дай бог что случилось...

— Думал, полегче хлеб заработать, а оказалось, что на Юсуфбека спину гнуть, что на Османа — один черт. И там батрачишь, и тут. Легкого хлеба нигде нет.

— А ты думал, тебя Осман озолотит...

— Человек он неплохой, но купец есть купец, и мысли 'его, как пчелы вокруг нектара, только вокруг денег и роятся. Да ладно, черт с ним, с Османом. Давайте-ка снесем мешки.

— Что ты привез, порадуй хоть нас, — спросила жена.

— Мешок кукурузной муки, мешок орехов и бурдюк сыра.

— А денег не дал?

— Как не дал? Все это я купил на деньги, да кой-какая мелочь осталась. Симон, отведи лошадь Осману.

Симон взял лошадь за поводья и пошел через площадь, осторожно ступая босыми ногами по горячим 'булыжникам. Калитка была приоткрыта. Он просунул голову во двор и негромко позвал:

— Есть здесь кто-нибудь?

Из беседки выскочил ростом с него мальчик, аккуратно одетый и причесанный. Увидев Симона, он осклабился и радостно закричал:

— А, голодранец, сейчас-то уж я намну тебе бока.

— Я тебе намну, — Симон пригнулся и вобрал голову в плечи.

— Не посмотрю, что двор твой, так намну, что запищишь.

— Посмотри на себя, червяк

— А ты на себя, курдюк

— Чего ты такой худющий?

— А от того, что ты сильно обжираться.

— Ух, голодранец.

— Купеческий шенок.

— Керим сколько раз тебе говорить, чтобы ты забыл это слово? — раздался вдруг повелительный голос и во дворе показался Осман. — Кто тебя учит таким гадким словам. Ну-ка пойдн принеси сюда мешок, который я засунул под тахту на веранде. Живо.

Керим побежал. Осман подошел к Симону, оглядел его жалостливым взглядом, вздохнул:

— Тощий совсем, как голодный козленок.

— Я не козленок. Возьмите вашу лошадь и я пойду, — оскорбленно проговорил Симон.

— Ну ладно, не козленок, подожи, я кое-что тебе подарю. Вот

и Керим бежит. Открой, Керим, мешок, вытащи штаны, рубашки, куртку, ботинки, правда, немного они поношенные, но вид у них еще хороший, возьми себе, Симон, носи на здоровье.

— Я не побираюсь, пусть носят их ваши дети. — Симон бросил поводья и побежал со двора.

— Ах ты, негодник, ты еще и оскорбляться умеешь, — возмутился Осман, — смотрите-ка на него, до захудалого ишака не дорос, цыплячьими ногами еле передвигает, а уже оскорбляться умеет, и грубить, ах ты, постреленок.

А про себя подумал: из таких голодранцев могут вырасти настоящие люди.

7

Получив от портье ключ, я быстро поднялся на второй этаж, почти взбежал: хотелось быстрее зайти к себе, броситься на диван почувствовать, как отдыхают ноги и тело, как с них сползает усталость, потом принять ванну и лечь спать — все-таки Париж, похотливый, жадный до жизни и красивый до умопомрачения, утомлял меня. Итак, получив от портье ключ, я быстро поднялся на второй этаж, отпер дверь своей комнаты, вошел, провел рукой по стене, ища выключатель. Послышался щелчок, вспыхнул свет, я бросил взгляд на свою временную обитель и... ахнул.

На моей кровати лежала раздетая женщина.

Я зажмурился, вернее, что-то заставило меня зажмуриться и отвернуться.

Неужели ошибся комнатой, мелькнула мысль, срам, так и на неприятность можно напороться.

Я спустился вниз, и, подавляя в себе неловкость, тихо спросил у портье:

— Вы мне дали ключ от моей комнаты?

— Да, мсье, — ответил он, удивленно глядя на меня. — А что вас беспокоит?

— Ничего. Благодарю.

Наверное, все-таки я угодил в чужой номер, сказал я себе, и поднялся снова на второй этаж.

Открыл дверь комнаты.

На кровати в эротической позе лежала женщина.

Нет, теперь ошибки быть не могло. Она лежала в моей комнате. Я осмелел и пригляделся к ее лицу. Она была молода, очень молода и обаятельна.

Поняв мое внимание к себе по-своему, она растянула чувственные губы в улыбке и подняла одну ножку, делая очевидные призывные жесты.

— Bonjour, mon ami! Vite anli!— проговорила¹, —она красивым голосом.

— Bonjour, madam! Comment ecti ici².

— О мой друг, ты знаешь французский язык? — Она удивленно и артистично подняла тонкие брови. — Ну, беги же ко мне, я давно тебя жду.

— Как ты здесь оказалась? — Повторил я. — Может, ты перепутала номер?

— О нет. — Она кокетливо улыбнулась,

— Тебе дали ключ или завели?

— Какая тебе разница? Иди же, быстро, я заждалась тебя. Как без шума избавиться от нее, — сверлила мысль мой мозг, в то время как чувства подчинялись уже ее похотливой красоте.

— Ну... иди же, — она протянула ко мне руку.

— Но прости, мне нечем платить...

— Нечем?.. — она звонко рассмеялась. — Поделись-ка, как ты мог остановиться в этом отеле с пустым карманом? Я не верю тебе, иди же.

— Мадам, поверь мне, уже нечем платить.

— Неужели любишь играть в любовь? Ха-ха-ха. Или, может, просадил в казино? Ну да ладно, я не для того хожу в отель, чтобы штопать дырки в карманах.

Она встала, голая красивая француженка, быстро оделась и бросив: «адью, мон шер ами», выскочила из комнаты.

Не скрою, мне вначале казалось, что к визиту в мой номер в отеле был причастен ты, Осман. Но те редкие часы, в которые мы виделись, отметили эту мысль. А одна встреча, знаменательная для нас с тобой и с твоим отцом, и вообще ее перечеркнула.

8

Джамал достал из-под матраца огрызок карандаша, клочок газетной бумаги, из которой крутил самокрутку, и на чистой ее полоске написал: «чаша переполнилась». Он долго еще думал, держа карандаш на весу, но так больше ничего и не добавив, позвал Симона.

Мальчик прибежал со двора и замер перед отцом, вытянув руки.

— Дядю Петра помнишь еще, не забыл? — спросил Джамал, скатывая бумажку.

— Какого? — лицо Симона удивленно вытянулось.

1 — Здравствуй, мой друг, беги быстро в постель.

2 — Здравствуй, мадам, как ты здесь оказалась?

— Который работает на железной дороге. В депо. Ну, там, где паровозы ремонтируют.

— А, это тот дядя, с пышными усами и голой головой?

— Голой, — укоризненно поглядел Джамал на сына и засмеялся. — Бритой головой. Так вот, разыщи его и передай ему эту бумажную палочку. Только ему. Если кто-нибудь к тебе пристанет, ну, сам знаешь, не маленький, заложи незаметно ее за щеку. Понял?

— Да, отец.

— Ну, беги.

До депо было далеко. Симон бежал то трусцой, то вприпрыжку, а то и останавливался передохнуть. У железнодорожного переезда с криками металась огромная толпа. Симон приблизился, присмотрелся. Шла драка между рабочими и полицией. Симон обошел ее сторонкой и побегал по железнодорожному полотну.

У входа в депо его остановил окриком сторож:

— Куда разогнался, постреленок?

— Дядя Петр нужен.

— Так и сказал бы. Ребята, кликните Петра.

В депо стоял гул. Шипели и свистели маневровые паровозы, тремело железу, сновали люди, перепачканные углем. Эта картина так заворожила Симона, что он не заметил подошедшего Петра.

— Ты чей, малец?

Голос заставил его вздрогнуть. Он съежился было, весь напрягся, но увидев пышные усы, сразу успокоился.

— Джамала я.

— Что-нибудь случилось? — насторожился Петр.

— Отец просил передать вот это. — Симон протянул ему записку.

Петр развернул ее и принялся читать, потом проговорил:

— Ты погоди, я сейчас.

Он очень скоро вернулся и протянул Симону записку.

— Передай отцу. Только отцу, понял? Никому больше.

Дома Джамал с нетерпением ждал Симона. Развернув принесенную им записку, он прочитал: «Недовольство на плантациях — это хорошо. А как отходники, ремесленники? Поддержат? Поговори, узнай настроение. Готовим митинг и забастовку.»

Значит, подошло время. Сколько же можно ждать? Все требовали свергнуть царя, ну, свергли его. А что изменилось? Временное правительство продолжает топтать нас, богачи богатеют. Пора народу брать власть, пора. Кажется, это время подходит. Петр знает, он все знает.

Джамал надел шапку, лихо заломил ее и направился в чайхану Ашота. Крупный и тучный мужчина, в белом накрахмаленном

Фартуке сапогом раздувал начищенный до блеска медный самовар. Джамал окинул взглядом чайхану и, не найдя свободного места, пошел к стойке.

— Здравствуй, Ашот. Мир и благополучие твоему дому, — приветствовал он громко.

— И ты здравствуй, Джамал. Давно не заглядывал... что тебя привело в чайхану?

— Подал бы лучше другу чаю.

— Баш юсте¹, садись, дорогой Лучшего чая ты не выпьешь во всем Дербенте.

— Так бы сразу...

Ашот поставил на стойку небольшой чайник с чаем, тонкий стакан с блюдцем и колотый сахар. Джамал сел на высокий табурет, облокотился на стойку и пристально взглянул на Ашота:

— Ребята готовы? А главное — с желанием идут?

— Бог их знает. Но говорят искренне: если Джамал зовет, значит ведает, на что идет.

— Не я зову, Ашот, большевики зовут, а они борются за меня, за тебя, за всех нас. Я не большевик, я безграмотный Джамал из Дербента, всю жизнь на поденной работе, но вот сердцем чувствую: они ведут борьбу ради нас, простых обездоленных людей. Как же не идти с ними, не поддерживать их. И потом, надо уразуметь, Ашот, если не мы, то кто же поддержит их... Я с ними, Ашот, я не уроню свой намус².

— Мы с тобой, Джамал.

— Спасибо за доброе отношение. Давай пить чай. — Джамал налил чай в блюдце, отхлебнул и разинул рот. — Ай-яй-яй, обжег рот, негодник, ты что мне кипяток подсунул...

— Надо было пораньше обжечь, чтоб меньше трепался.

Они глянули друг на друга и весело расхохотались.

Вернувшись домой, Джамал лег на тахту и пустился было в размышления, как скрипнула калитка и на веранду поднялся мальчик.

— Керим?

— Отец велел передать, чтоб вы зашли к нему вечером.

— Что ему нужно? Случилось что-нибудь?

— Он не сказал. Велел передать, чтобы обязательно зашли.

Вечером Джамал пошел к Осману не через площадь, а обогнув ее, миновав несколько улиц. Калитка была незаперта, Джамал нырнул во двор, притворил ее, закрыл на шеколду. Осман ждал, сидя на подушках под развесистым тутовым деревом.

¹ Баш юсте — с удовольствием, дословно — на голове.

² Намус — совесть, честь.

— Долго же ты шел ко мне, — сказал с иронией Осман.

— Не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, кружил, как хитрый лис.

— Почему «как»? Ты и есть хитрый лис. — Осман улыбнулся, потом пригнулся и хлопнул ладонью по колену. — Не обижайся, что лисом тебя назвал... — Он задумался, затем продолжил. — Чувствую сердцем и вижу своими глазами: люди готовят бунт. Большой бунт. Не принесет ли он большой беды?

— Ты спрашиваешь, как купец, я отвечаю, как бедняк: нет для бедняка больше той беды, в которой он оказался. Что ему остается, как не драться за себя, за будущее своих детей. Так жить больше невозможно.

— Но объясни мне, как поступят с моим добром. Я его не крал, я наживал своим горбом, своим трудом, смекалкой. Как поступят с моим добром?

Джамал задумался, погладил бородку, потом посмотрел Осману прямо в глаза.

— Ты знаешь, сосед, я не большевик, я многого в политике не понимаю. Но чувствую... Сам посуди: стоит ли проливать кровь, если богатеям оставят их богатство. Что изменит борьба, если бедняк останется бедняком, а богатый — богачем. Я так думаю.

Установилось долгое молчание. Наконец, его прервал Осман.

— По-моему, Джамал, в твоих словах есть правда. Наши богачи, — он усмехнулся, произнеся эти слова и снова повторил, — наши богачи замышляют что-то недоброе. Слышал я сегодня в городской думе, что собираются они арестовать кое-кого. Не осложнил бы этот арест жизнь нашего города.

Дает знать, чтобы были осторожны, сказал про себя Джамал, но внешне ничем не выказал своих чувств. Посидели молча еще несколько минут, потом Джамал поднялся, пожелал хозяину дома спокойной ночи и тем же кружным путем вернулся к себе.

Не успев еще переступить порога комнаты, он нетерпеливо окликнул Симона.

— Что еще стряслось, дай мальчику спокойно заснуть, — заворчала жена, раскатывавшая в углу веранды плоские листы теста для лаваша.

— Попозже заснет, мать, сейчас дело есть, очень срочное.

— Жалко мальчика, весь день помогал по хозяйству, утомился...

Но Симон уже выходил из комнаты, протирая глаза.

— Дело есть сынок, срочное. — Джамал ласково погладил его по взъерошенной голове, чего от него редко видели. — Беги к дяде Петру, скажи, пусть не раздумывая уходит из дому. Понял? Не раздумывая. Его могут арестовать.

Мальчик кивнул головой и сбежал с веранды.

— Что-то серьезное стряслось Джамал? — спросила тревожно жена.

— В мире каждый день что-то серьезное происходит. Разве этим удивишь людей.

— Да прекрати ты свои пустые рассуждения. Неужели не можешь просто и вразумительно объяснить, что происходит?

— Э, что ты понимаешь, женщина, в таких делах, как...

Но дальше Джамал не стал говорить, он снял шапку, повесил ее на большой ржавый гвоздь, растянулся на тахте и блаженно вздохнул. Жена что-то долго говорила себе под нос, но он не слушал: его мучил вопрос — знает Петр о разговорах, происшедших в городской думе, или до него они еще не дошли. Это вывел из полудремотного состояния голос Симона:

— Отец, дяди Петра дома нет.

Джамал вскочил, сел на тахте, уставился на сына:

— Как так нет... Надо было подождать... Как ты мог уйти, не предупредив его, постреленок, ну-ка сбегай обратно.

— Нет его, отец. Увели его.

— Как увели, кто? — не понял Джамал.

— Тетя Мария сказала: пришли трое и увели. Она сидит дома и плачет.

Увели. Не успели предупредить. Гляди, упрячут за решетку всех большевиков, если их не предупредить об опасности. Значит, прав был Осман. Прав? А почему он мне сообщил поздно вечером? Ждал, пока арестуют большевиков? Невероятно. Ждал их ареста, а потом предупредил меня? Но ведь могли и меня взять. Меня? Тьфу. Кому я нужен. Кто я такой для них. Значит, Осман специально ждал до вечера... Не верится мне... Не хочу в это верить... Что делать... Что же делать... Уйти. Да, уйти к тем, кто может помочь. Не за себя боюсь, кто меня возьмет и кому я нужен... Их надо спасать, выволить из неволи. А это Джамал должен совершить. И совершит.

— Жена, я ухожу.

Из рук жены от неожиданности выпал лист лаваша.

— Ты что, отец, опять чудачества свои вспомнил, куда ты в такое смутное время уходишь от семьи. На кого ты оставляешь нас, детей своих... — запричитала она.

— Молчи, мать, молчи. Так надо, слышишь? Людей надо выручать. Ухожу в Табасаран. Но никому ни слова о том, где я. Поняла? Если вдруг объявится Петр, кто знает, может объявится, ему скажи. Больше ни одному человеку. Сыновей береги. Я пошел.

Джамал снял с гвоздя шапку, надел, заломил тулью и ушел в темноту.

День близился к концу. Джамал споро поднимался по горной тропе. Далеко внизу редела река.

Наверх вела и широкая дорога, по ней гнали скот, скрипели арбы и повозки, но Джамал любил эту тропу: то ли потому, что она была безлюдна, то ли за дикую первозданную красоту, а то ли потому, что вчетверо сокращала путь...

Наконец, Джамал преодолел последний крутой подъем, тяжело вздохнув, остановился. Пот струился по его лицу. Со вчерашнего вечера, с той минуты, как вышел за порог своего дома, он еще не отдохнул. Несколько минут сидел у своего старого друга — аробшика за Шуриинскими воротами, пока тот выводил из стойла лошадь, ровно столько же у кунака в Ханжалкале, которому оставил лошадь, чтобы тот перепрыгнул в Дербент. И вот этот переход по тропе.

Джамал снял шапку, вытащил из кармана тряпицу, служившую платком, вытер бритую голову, потом глаза, лоб, губы и бороду, засунул обратно в карман, и водрузил шапку на прежнее место. Впереди стоял лес.

Теперь надо найти их, сказал Джамал себе. А вдруг они ушли из этого леса... От такой шальной мысли по спине пробежали мурашки. Куда они уйдут, не должны, пытался успокоить Джамал себя, а мысль не оставляла его. Ну что ж, пусть уходят, буду искать всюду, пока не найду. Да и люди помогут разыскать их. Хаспуш не иголка в стог сена. Джамал вошел в лес и двинулся по еле приметной, давно нехоженной тропе. А что, если окликнуть... Идти и окликать, подумал он и обрадовался такому решению. Вдруг кто-нибудь из его людей услышит.

— Эй, Хасбулат, слушай, это я, Джамал из Дербента, — крикнул он, не сбавляя шага.

— Эй, Хасбулат, слушай, это я, Джамал из Дербента, — неслоь через каждые сто шагов.

Была минута, когда Джамалу почудился шорох, он остановился, прислушался, но вокруг все сковала тишина.

Уже в глубине леса раздался властный голос:

— Что тебя привело в такой поздний час?

Джамал от неожиданности остановился, но не испугался, а наоборот, обрадовался и кротко сказал:

— Долго ж я тебя искал.

— Долго, скоро звезды будут гаснуть.

— Что же не отзывался?

— Мой человек тебя не знает. Новый он. Шел за тобой. Потом прибежал ко мне. Так что все-таки привело тебя? Что-то очень серьезное, иначе ночью в лес не сунулся бы.

— Посидеть надо, поговорить, Хасбулат. На ногах мы наше дело не разрешим.

— Иди за мной, Джамал из Дербента.

Спустя некоторое время они вышли к приземистому домику.

— Пока входить не будем, — предупредил Джамал. — Дело серьезное, надо поговорить наедине.

— Как знаешь. Пойдем приляжешь на копну сена, отдохнешь с дороги. Исмаил, — сказал Хасбулат в темноту, — принеси поесть.

Мужчина, к которому обратился Хасбулат, не мешкая расстелил на земле перед Джамалом тряпицу, разложил на ней куски лаваша, овечий сыр, кувшин с айраном, и исчез в темноте. Неторопливо жуя, Джамал поведал Хасбулату, что его привело в лес.

— В большевики записался? — оказал Хасбулат, — с большевиками связался?

— Я тебе уже говорил, что я безграмотный и политикой не занимаюсь. Вот ты стал хаспушем не ради удовольствия или громкой славы. Я знаю о тебе все. И грабишь, и обираешь богатых, чтобы раздать бедным награбленное. А не будет богатых — чем займешься?

— Ха-ха-ха, — расхохотался Хасбулат. — Домой поеду, землю пахать, вино давить...

— А ты над большевиками насмехаешься. И они хотят, чтобы мы землю пахали, вино давили, но свое, а не Юсуф-бека и ему подобных...

— Довольно словами лесных зверей путать. Скоро рассвет, вздремнуть надо. Исмаил, — бросил он в темноту, — дай нам бурки. Утром продолжим разговор.

Джамал растянулся на сене, подложив под себя половину тяжелой жесткой бурки, накрылся другой половиной, закрыл глаза и тут же уснул.

Первым, кого увидел Джамал проснувшись, был Хасбулат. Тот полулежал на копне сена.

— Ты меня сторожишь от Симург-гуша? — пошутил Джамал, откидывая бурку.

— Наоборот, Симург-гуша от тебя, — осклабился, довольный своей остротой, Хасбулат. — Сижу и думаю. И ничего в голову не лезет.

— Конечно, трудно, — согласился Джамал.

— Главное, как подобраться к начальнику тюрьмы. Вот и ломаю голову. Но одна мысль все же родилась в моей голове.

1 Симург-гуш — сказочная птица, персонаж арабских сказок.

Не прикинуться ли мне человеком князя Кайтагского. И заявиться от его имени к начальнику тюрьмы. Слышал я, они знакомы. Но вот как пробраться в тюрьму... Я пройдуся по лесу, а ты пока умойся, поешь что бог послал.

Небо было холодно-голубым, когда тронулись в путь. По тропе спускались ловко, гуськом, в самом хвосте один из хаспушей вел за собой трех привязанных друг к другу лошадей.

— Скорей, братцы, скорей, — покрикивал шедший впереди Хасбулат, — до первых лучей солнца мы должны быть в лощине. Там мелколесье, — объяснил он Джамалу, шедшему позади него, — наша защита. Там и переждем до сумерек.

Они вышли в лощину запыленные, пропотевшие, а лучи солнца так и не позолотили небо: оно с каждой минутой становилось хмурым, облачаясь в рваные тучи.

— Это нам годится, — усмехнулся Хасбулат. — Меньше людей будет шляться по дорогам.

В мелколесье хаспуши разбрелись и каждый занялся своим делом: кто зашивал рваную штанину, кто ремонтировал чарыки, а многие, раздевшись у речушки, славившейся на всю округу теплой целебной водой, принялись размазывать по телу ил и землю, которые выгребали с неглубокого дна. Джамал, не долго думая, тоже разделся, полез в воду, лег на спину и принялся размышлять над злой судьбой этих несчастных и обездоленных людей. У каждого из них были жена, дети, старые родители, а они вынуждены скрываться в горах и лесах и лишь только потому, что где-то в чем-то не услужили беку, не согнули спину перед городовым, осмелились упрекнуть землевладельца в бесчеловечности и в обмане. Каждый из них был травинкой этой земли, придорожным цветком, придорожным кустом, без них земля оголилась бы, высохла и зачахла. Джамал хорошо знал одного из них — Шими. С малых лет он гнул спину на рыбозаводчика, а семья из восьми человек жила впроголодь. Непокорный, негиббаемый дух жил в Шими. Намус свой нес высоко, ходил с гордо поднятой головой, а рубаху и штаны носил в заплатках. Голова его никогда не знала тяжести шапки, и потому она поросла густой копной волос. Как-то он пошел проведать больного родственника и засиделся. День клонился к вечеру, когда услышал шум во дворе. Успокоив больного, он вышел, плотно закрыв дверь, и увидел, как чиновник тянул тощую козу со двора, а хозяйка вцепилась в нее, голосила и не отдавала. Рядом голосили дети. На вопрос Шими, что здесь происходит, чиновник и ухом не повел. Конечно, Шими понял, что произошло: родственник задолжал Юсуф-беку и тот послал чиновника конфисковать его имущество, а поскольку ценного в доме ничего не было, выбор пал на единственную живность. Шими повторил свой вопрос, на что опять не получил ответа.

Тогда он засучил рукава рубахи, подошел к чиновнику, высоко поднял его и перебросил через забор на улицу. Спустя час, чтобы не оказаться в тюрьме, он ушел в горы.

— Хасбулат, эгэй, где Хасбулат...

Громкий голос прервал раздумья Джамала. Мелколесье пришло в движение. Кто обшивался — быстро оделся, кто купался — выскочил на берег.

— Здесь я, — слышалось из чащи. — Что случилось?

— Обоз идет.

— Большой?

— Десять подвод. И на каждой — солдат. Он же и погоняет лошадь, он же и охраняет.

— Обоз... Это же хорошо. Джамал, эгэй, Джамал.

Джамал успел одеться и уже спешил к Хасбулату.

— Джамал, сам аллах послал нам этот обоз. Мы такое дело провернем... вся округа будет о нас легенды рассказывать. Братцы, берем обоз, только без единого выстрела, без рукоприкладства. Рассыплетесь по обе стороны дороги. И замрите до моего сигнала.

Хаспуши быстро выполнили команду Хасбулата. Джамал сидел в придорожной канаве, в густых камышах, и внимательно глядел на дорогу. Вскоре послышался скрип колес, потом показалась подвода, доверху груженная, за ней тянулись другие. Лошади шли устало, понуро опустив головы. На подводах сидели солдаты, держа в руках поводья, на коленях покачивались винтовки. Многие дремали.

Хасбулат появился на дороге неожиданно. Как привидение. Он взял левой рукой первую лошадь за уздацы и громко и повелительно сказал:

— Поднимите руки, не стрелять... Всех уложим.

По обе стороны дороги из камышей выбежали хаспуши.

— Эх, мать божья, влипли, как кура в ошип, — тошкливо произнес пожилой солдат, сидевший на первой подводе.

— Кура ты и есть, Степан, — зло произнес другой. — Чего ж дремал, а еще старшим тебя выбрали. Тыфу, на погибель нас затащил.

— Сам ты кура, хрен воронежский, — разозлился Степан. — Я глядел во все гляделки, а он будто из-под земли вырос. Черт их знает, где они здесь окопались. А ты, дура, храпел и рот разинуть не успел как у тебя винтовку отобрали. Отслужил, пора петь и отходную.

— Заткнись, кура...

— Я тебе щас так заткну харю, что навечно перестанешь горланить...

— Горцев обирали? — прервал их Хасбулат? — Продукты у них забрали?

— У них, — сказал Степан, у кого же еще.

— Ваших побили?

— Поручика да Никиту из Аксайки, что под Ростовом, да Савелия из Дубравки, что под Саратовым... Мужиков жаль. А поручика, — Степан махнул рукой, — злой очень был. Нашего брата люто ненавидел. Вот над Трошкой так измывался, что злым сделал как собаку. Слыхал, как со мной разговор ведет? Аж словно с цепи рвется.

— Домой хотите?

— Пошто же не хотеть. Хотели бы, да боязно. А вдрут споймают, вернут.

— Не вернут. А вы нас не подведите.

И Хасбулат не скрывая изложил план действий.

Поздно вечером через Шуринские ворота в Дербент въехал обоз. На каждой подводе на мешках сидело по двое человек, да на облучке солдат. За обозом скакали три всадника.

Обоз протарахтел в южную часть города и остановился у ворот тюрьмы. С первого коня спешился высокий, статный, широкоплечий всадник; он был одет в черкеску, на голове белая папаха. Вслед за ним спешились двое других всадника.

Первый быстрым, четким шагом направился к проходной. Часовой при виде его выбросил винтовку вперед, окликнул:

— Стой, кто идет, не велено пущать.

Человек в белой папахе рукоятью плетки с силой отвел винтовку, презрительно бросив:

— С кем говоришь, дурак, с князем Кайтагским.

— Не велено..

Но человек в белой папахе уже вошел на территорию тюрьмы, вслед за ним шли двое, тоже в черкесках, но в черных, папахах.

— Где начальник тюрьмы? Канцелярия где? — бросил первый часовому.

— У себя, ваше-с. Прямо, а потом налево.

— Как величать?

— Александр Григорьевич, ваше-с. Долгополов.

Человек в белой папахе быстро пересек двор, поднялся на крыльцо, миновал просторную комнату, служившую приемной, и без стука вошел в кабинет.

— Ваше выс-благородие, от князя Кайтагского.

Пожилой худощавый мужчина, сидевший в кресле за столом, от неожиданности вздрогнул, потом вскочил было с места, но заставил себя сесть, однако продолжал упираться руками о стол, вобрав голову в плечи. Перед ним стояли три горца в папахах, положив руки на рукояти кинжалов.

— Кто будете и как попали сюда без разрешения, — попытался гаркнуть начальник тюрьмы, но голос подвел его.

— Ваше выс-благородие, от князя Кайтагского. — Повторил человек в белой папахе. — Его выс-благородие приглашает ваше выс-благородие на свадьбу.

— На какую еще свадьбу?

— Они выдают красавицу дочь замуж за сына одного из членов городской думы, почетнейшего человека города, крупного землевладельца и богатейшего...

— Он меня не интересуется... Князь Кайтагский... Это не тот, который...

— Так точно, ваше выс-благородие, именно тот, кто вас принимал по-княжески, когда вы были в Кайтате. Да и сейчас он вам прислал гостинцы и просил, убедительно просил приехать на свадьбу.

Горцы в черных папах бросили на стол два бурдюка с вином.

— Куда ж вы бросаете, на стол, и как так можно... Басурманы...

— Никто не видел, ваше выс-благородие.

— Садитесь, отдыхайте. Никифоров, где ты, черт тебя побери.

— Там никого нет. Что вы хотели, ваше выс-благородие.

— Стаканы. Угостить вас, как-никак гости.

Он вышел в приемную и вернулся с бокалами.

А в это время, привлеченные обозом, у ворот сгрудились свободные от вахты солдаты.

— Что везете служивые?

— Никак, много харчей?

— Да все туда же, в гарнизон, — отвечал Степан, сидевший на облучке первой подводы. — А харчей видимо-невидимо. И вино тебе, и сыр овечий, и кукуруза, и мука, и фрукты...

— Вот битюги. Гарнизонных кормить изволят, а нас на похлебке держат.

— Так и быть, ребята, угощу винцом, — махнул рукой Степан. — Ну чего топчетесь, как телки, пейте, пока я добрый.

Минут десять спустя солдаты хмельные сидели на подводах и жаловались на свою судьбу.

— Братцы, а поручик-то Дракин трезвый, — молвил один из них. — Вот нам от него влетит.

— Сильно злой? — спросил Степан.

— Злой — не то слово. Зверюга.

— У нас тоже был такой. Убили его в перестрелке и легче стало нам. Значит, поручик где-то там?

— Кажись, обходит посты. Особо сторожит политических.

— Ну, вы пейте, ребята, я шас...

Степан незаметно прошел через проходную и направился в канцелярию.

Открыв дверь кабинета, он вытянулся во весь свой богатырский рост и гаркнул:

— Ваше выс-благородие, поручик Дракин ведет недозволенные разговоры.

— Кто такой? — выпучив пьяные глаза вскричал начальник тюрьмы.

— Поручик Дракин.

— Ты кто такой, дурак.

— Солдат Степан Ситный, ваше выс-благородие.

— Ситный. Тыфу. Поручик Дракин не может вести такие разговоры.

— Все слышали, ваше выс-благородие.

— Все?... Арестовать. Дракина арестовать, отобрать ключи. Завтра я ему, сукину сыну...

Степан бросил взгляд на человека в белой папахе, развалившегося в кресле. Глаза у того смеялись.

— Пошел вон... — вскричал штабс-капитан.

Степан вышел со двора на улицу, где у обоза, в темноте, сидели хмельные солдаты, и взмахнул рукой. С подвод сошли люди в папахах и растеклись по территории тюрьмы.

Спустя полчаса по дербентским улицам в сторону Шуринских ворот направлялся обоз. В подводах, укрытые тряпьем и соломой, лежали люди. Замыкали обоз три всадника.

Из города обоз вышел без происшествий.

10

Пер-Лашез покорил нас. Нет, не то слово, — потряс. У стены коммунаров мы возложили живые цветы.

Ты не мог понять наших чувств, нашего преклонения перед их именами. Очевидно, потому, что ты воспитан в другой среде, нет, не очевидно, а безусловно. Ты продукт другого общества, которое не вмешивается в политику, мирно, безропотно, безоговорочно ладит со всеми классами и общественными формациями, заботясь только о процветании своего дела. Своего бизнеса.

Мне кажется, ты не понял нас. Осман, и в тот миг, когда мы замерли у памятников безымянным, отдавшим жизнь в борьбе с гитлеровским фашизмом. С какой любовью был сделан памятник погибшим в Освенциме, узникам Бухенвальда. До этой минуты я не мог знать, не смел даже представить себе, что на Пер-Лашез могут быть воздвигнуты памятники из мрамора, обвиняющие, клеймящие фашизм. Один из них заставил меня содрогнуться. То была

рука, прорывающаяся из толщи земли. Она словно взывала к живым: помните, мы ушли во тьму, в небытие, чтобы жили вы, в ваши сердца вечно должна стучаться память о нас, ненависть к человекообразным, нас, безвинным, замучившим и уничтожившим, решимость не осквернить саму суть и смысл жизни человеческой. Помните, такое не должно повториться. Никогда.

Я чувствовал мольбу, страсть, силу этой руки, и боялся, что у меня вот-вот зашевелятся волосы на голове. А ты стоял безучастный и холодный к ней. А тебя не коснулась война? Фашистский сапог не осквернил траву в твоём дворе, не бил кованым каблуком в дверь, не топтал женщин, девушек, детей?..

В голове роятся мысли окованом сапоге, а передо мною рука, белоснежная рука, вырвавшаяся из темной тверди земли

— Я вам покажу сказочный Париж...

Голос донесся до меня то ли со стороны, то ли сверху, я никак не мог понять, откуда, кому принадлежит он и чего хочет от меня. Я не мог понять, почему он должен был раздаться сейчас, как он осмелится раздаться, нарушив строй моих мыслей, вползая в святую святых-мою душу, мое сердце.

И снова:

— Я вам покажу сказочный Париж...

И я пошел вслед за друзьями, которых увел ты, Осман. Кесарю кесарево, живым живое.

Мы уселись в твою машину, и она понесла нас по улицам Парижа, догоняя закатные лучи солнца. Машина шла мягко и быстро, съедая проспекты, площади и бульвары, заюлила по узким улочкам и замерла на вершине холма.

Мы вышли из машины. Рядом высился белокаменный Сакре-Кер-храм Святого Сердца. Внизу, насколько хватало глаз, лежал Париж, залитый золотом заката. Я выхватил взглядом Монпарнас, Марсово поле, а перед глазами стояла рука, вырвавшаяся из земной тверди.

Потом ты нас снова повез по бульварам, выехал на улицу Королей, рядом с Нотр Дам де Пари, забитую автомобилями многих стран мира. Мы вошли в этот чудовишно огромный массивный и в то же время изящный собор, забитый тысячами людей и, замерев, долго слушали орган, захвативший нас, приковавший к себе божественной музыкой.

А в моих ушах стояла другая музыка — стон белоснежной руки, вырвавшейся из земной тверди.

Слышал ли ты, Осман, когда-нибудь музыку-стон той руки?

Сам черт не разберет, что тут происходит. Взяли власть Советы, люди только успели вздохнуть свободно, как появились денкинцы. А вслед за ними и красные фески¹. И вот пуляют они в моем городе, к купцам захаживают, землевладельцев оберегают от бывших батраков, в игорных домах набивают карманы. В офицерском клубе табачный дым вырывается из окон, словно там разгорается пожар. А солдатня... Тьфу, пакостники. В курятнике не оставят ни одной птицы, увидят смазливую женщину или девушку, тут же лезут облапить. Ни бога у них нет, ни намуса. Какую власть они думают установить, какую жизнь дать людям — ни богу, ни дьяволу не ясно.

Так думал Джамал, возвращаясь поздно вечером домой. Он спускался по узкой улочке магала к площади, когда по камням мостовой раздался гулкий стук каблуков, а потом и грозный окрик:

— Стой.

Перед Джамалом выросли три фигуры.

Первый из них был в китиле, перепоясанном португееми.

— Где был? Куда идешь так поздно?

— К мулле ходил.

— Все они ходят к мулле, — зло проговорил другой, с винтовкой в руке. — А ковырнешь клинком — большевик.

— Какой он большевик, — проговорил третий, — босяк, да и только. Гляди, в чем ходит. Босяк и есть.

— А шапка заломана-то...

— Без шапки им нельзя, ваше выс-благородие, — подал голос третий. — В шапке у них, так говорят, вся честь.

— Ладно, иди, — махнул рукой первый, — и смотри у меня, по ночам не ходи, не то в тюрьму угодишь, либо пулю схлопочешь.

— Сволочи, — сказал про себя Джамал, спускаясь по улочке, — встретились бы вы мне поодиночке, я бы вам показал босяка, а то ходите сворой со страху, одного-другого проучишь, да третий успеет укусить...

— Кто идет, — мысли Джамала прервал окрик.

Чтоб вы все сгорели в аду, проговорил Джамал, потом громко бросил:

— Босяк идет.

— А что босяку ночью делать в магалах? Воровал, видать? Перед ним стояли двое в красных фесках.

¹ Красные фески — турки, так называли их, потому что они носили фески.

— Не вор я, аллах свидетель. К мулле ходил, совета спрашивал.

— Что тебе может мулла посоветовать в ваше смутное время? Нас спроси, понравишься — поможем. Ну, говори, что с тобой стряслось?

— Лошаденка была во дворе, неказистая, от жеребца и ишачки, неказистая, да помощница, ведь я аробщик, без лошаденки пропаду, так вот лошаденка неказистая была, и ту увели.

— Кто увел?

— Не знаю, кто их разберет... Зашли в кителях, фуражки на голове, не ведаю, что и кого искали, но лошаденку увидали, взяли под уздцы и увели. Неказистая была, а увели.

— Это гяуры были. Конечно, гяуры. Ладно, иди оплакивай свою лошадь.

Джамал пошел, ухмыляясь над своей фантазией, но вдруг приостановился, прислушался.

— Рустам-бей, если этот голодранец легко отдал гяурам лошадь, он с той же легкостью отдаст мне свою шапку.

— У него и так горе, а ты ему прибавишь другое. И зачем тебе его шапка. Она не стоит и одного абаси¹.

— Не говори так, я хорошо разглядел. Она стоит того, чтобы ее сдернули с головы этого дурака.

Джамал не стал слушать дальнейшего их разговора и быстро пошел прочь.

Вскоре за спиной послышались шаги. Потом повелительный голос окликнул его:

— Ну-ка стой. Я тебе говорю? Стой, не то стрелять буду.

— Я не понял, что ты ко мне обращаешься. Стою.

— Сними шапку и подай мне.

— Чем моя шапка провинилась перед тобой?

— Снимай говорю.

Джамал незаметно оглянулся: второго турка не было видно.

— Подойди, возьми. Одни лошаденку неказистую увели, другие шапку снимают с головы. Что за время такое...

— Много не болтай, давай шапку и беги, если жить хочешь...

Турок приблизился. Джамал резко ударил ногой турка ниже паха. Тот согнулся и с пронзительной болью выдохнул:

— Вай, ана.

Не давая турку опомниться, Джамал сцепил обе руки и с силой обрушил ему на голову. Турок мешком свалился на землю.

Кипя яростью, Джамал ногой отбросил его к забору, свернул за угол и вышел на площадь.

¹ Абаси — монета, равна 20 копейкам

Утром красные фески забрали Османа. Под забором его дома был обнаружен турок без сознания. К счастью для Османа к полудню тот пришел в себя и мог говорить. Купца отпустили, даже не извинившись перед ним.

Потресанный грубым обращением, Осман вернулся домой подавленный. Он почему-то стыдился самого себя, хотя и не совершил никакого проступка. Просто стыдно за то, что его, купца, известного в городе человека, повели не разобравшись и не попытавшись даже прислушаться к его объяснениям, а потом выставили на улицу, не признав своей вины за нанесенное оскорбление. Неужели эти люди надеются надолго оставаться в городе, спросил он себя. Они же растопчут, изгадят все наши нравственные устои, внесут в нашу жизнь сумятицу и страх. О всемогущий, если ты есть на небе, воскликнул он в душе, не дай им хозяйничать в нашем городе, изгони их, избавь нас от их лая и оскала...

Осман осторожно открыл калитку, ступил во двор, обернулся и только тогда понял, что она была незаперта. Он поднялся на веранду, устался на кресло, потом опустился в него. Тяжесть не покидала: тяжесть возмущения, гнева, протеста давила душу.

Вдруг его слух уловил причитания и резкий мужской голос. Он прислушался, потом встал, открыл дверь в комнату.

Жена сидела на корточках, била себя по лицу и плакала, причитая. Мимо нее носился взад-вперед худощавый невысокий мужчина, злой и желтый от желчи. Он то и дело выбрасывал руки вперед и повторял:

— Не плачь, сестра, не изводи себя, мои друзья ему помогут.

— Чего же они до сих пор спят, твои друзья. Его, бедного, там бьют не один час... Аллах, спаси его, вытащи из рук этих жестоких турков...

— Не изводи себя, сестра, мои друзья ему помогут, — вновь повторял мужчина, перебегая от стены к стене.

Осман молча прошел к подушкам, опустился, прислонился к стене, откинув голову. Жена замерла, мужчина остановился посреди комнаты.

— Вот я и вернулся, — Осман попытался улыбнуться, но выдал только ухмылку.

— Я сказал тебе, сестра, что мои друзья ему помогут. — Произнес металлическим голосом мужчина.

— Ты прав, дорсгой Илдирым, они ему помогли, — удивленно и радостно произнесла женщина.

— Твои друзья... — медленно, с иронией принес Осман. — Твои друзья — меньшевики и не знали, что я у турков.

— Как же ты вышел? Убежал — удивился Илдири́м.

— Спасибо турку, которого не до смерти избили. Пришел в себя... — Осман вдруг от души рассмеялся. — Э, нет, спасибо надо сказать тому, кто не до смерти его избил.

От этого смеха ему стало легче и уютней в своем доме.

— Ну что за поганое время настало, сам дьявол не разберет. Белогвардейцы свои порядки устанавливают, турки — свои, а настоящего-то подрядка нет. Власть должна быть одна. И порядок один. — Илдири́м входил снова в раж: он стал бегать по комнате, выбрасывая вперед руки. — Настоящий порядок могут установить только меньшевики. Посуди сам, военные вызвали ненависть у местного населения. Почему — знаешь сам. Грабеж, самоуправство, беззаконие и всякое другое. А меньшевики имеют свою программу, свое отношение и к буржуазии, и к крестьянству, и ко всяким прочим...

— Ну и беги к своим меньшевикам, — отрезал ему Осман.

— Что ты сказал? — опешил Илдири́м.

— Беги, говорю, к своим меньшевикам. У меня от этих ваших шикающих слов — меньшевик, большевик — голова тупеет, понимаешь, щелкни по ней сейчас — загудит, как казан. Меньшевик, большевик... Мне плевать на этих шиков, мне торговать надо, делать деньги, понял, вот мое занятие, а эти шики мне не дадут своим ремеслом заниматься. Я не глупее тебя. А теперь иди домой и будь спокоен: я у себя и больше меня не заберут. Если, конечно, под моим забором не обнаружат избитого турка или белогвардейца.

Илдири́м бросил взгляд на Османа, потом перевел его на сестру, повернулся и быстро пошел прочь.

— Почему ты ему напрубил — начала была жена, но Осман прервал ее:

— Помолчи, жена. Этот бездельник кроме как болтать ни на что не способен. Не хочу упрекать твоих родителей, я не в праве этого делать, но они не сумели воспитать и вырастить себе достойного наследника. Сколько ему уже, за тридцать, или около, но он кроме болтавни, как я знаю, ни на что не способен. Лучше закрой плотно дверь, присядь поближе и послушай, что я тебе скажу. Насколько я уразумел, а меня пока моя голова не подводила, ни при большевиках, ни при меньшевиках нам жить так, как мы жили, не дадут уже. Большевики, что тебе о них сказать, это народ простой голодный, обездоленный народ, который хочет уничтожить кабалу, нищету, невежество, неравенство, не потерпит, конечно, он и богатых. А мы с тобой относимся к ним. Конечно, не убьют нас, не пустят по миру, но попытаются поравнять

с собой. Меньшевики, эти хитрее. Они нас в обиду не дадут, но сосать будут нашу кровь, как пиявки. Так что, как говорят в народе, в доме Ивана морозно, в доме Ахмеда горячо. И принял я решение уехать.

Жена всплеснула руками.

— Помолчи и слушай. Пока они здесь передерутся, нам надо отсидеть где-нибудь. А лучшего места, чем в Тавризе, нет. Велихан нас примет, в обиду не даст, это старый и верный мой кунак, да ты его помнишь. А кончится эта драчка, восстановится порядок, я надеюсь, старый порядок, единозаконие, вернемся в свой дом.

Осман замолчал. И тут жена запричитала:

— Несчастные, несчастные мы люди. Бросить свой дом, свою землю могилы отцов и уйти на чужбину, и из-за чего... о аллах, почему ты на все закрыл глаза, почему ты нас гонишь на чужбину, неужели ты не хочешь вернуть мир своей земле... О мои родители, что же происходит на земле...

— Перестань, жена, не изводи себя, плачем вчерашний день не вернешь. Прекрати я тебе сказал.

Жена перестала причитать и только всхлипывала.

— Слушай меня внимательно. Вечером шшей несколько кожаных поясов, в которые можно заложить золотые монеты. Вели Аскеру помочь, он верен нам. Собери самое ценное и необходимое, слышишь, не казаны и тазы, а самое ценное и необходимое. Я все сказал, что хотел.

Осман встал и медленно вышел во двор. На душе было неясно и беспокойно. Конечно, срываться с насиженного места, уезжать с земли предков в неведомое было тяжело, ох как тяжело, но успокаивала мысль: а вдруг все образумится, вернутся старые добрые времена и все пойдет своим чередом. А вернулся ли? Сколько хребтов ломает это противоборство, пока кто-нибудь не возьмет власть... Нет, что тут думать и изводить себя думами, он решил: надо ехать.

Опускался вечер. На улицах и дворах беспокойно завывали собаки.

— Аскер! — требовательно позвал Осман.

— Здесь я, — послышалось из беседки и на дорожку выскочил верный слуга и работник.

— Аскер, разузнай, у кого можно купить три фаэтона и коней да смотри, чтобы и те и другие были добрыми. Рассчитывай на долгую дорогу.

— Коней бы надо по паре в упряжке.

— А я тебе не говорю — по одной. Сегодня вечером постарайся купить. Завтра будем собираться в дорогу. Послезавтра с рассветом в путь. Ты как посоветуешь?

— Верно решил, ночью ехать нельзя, на дорогах кто только не шныряет: и чужие могут пристать, и свои, сейчас брат брата бьет, сын отца... А днем как-то безопасней...

— Так и решим. Предупреди Гасана, Садыка и Велли, чтобы лишнее не болтали своим приятелям и приятельницам.

Весь следующий день Осман с домочадцами и работниками собиравшись в дорогу. Дорогие одежды и ценности запихали в огромные саквояжи и уложили во второй фаэтон, мануфактуру, втиснутую в несколько сундуков — в первый, и ковры в третий фаэтон. На первых порах будет чем торговать — так мыслил Осман. На рассвете перед выездом он набил кожаные пояса золотыми монетами, обмотался ими несколько раз, велел то же самое сделать жене. Кроме того в кармане его брюк лежало письмо, любезно доставленное Илдиримом, которое разрешало бесприпятственно передвигаться по дорогам до Баку.

Осман с плачущей женой и сыновьями вышел из дому, навесил на двери несколько больших замков, затем запер калитку и все четверо сели в средний фаэтон, где их терпеливо поджидал Аскер. На переднем сидел один работник, на заднем — двое. У каждого за пазухой лежал револьвер, а у Аскера вдобавок под облучком был спрятан карабин.

— Все ставни закрыл на засов? — спросил Осман.

— Все.

— Подушки, оттоманки, утварь отнес старикам моей жены?

— Да, как велел.

— Сказал, что мы скоро вернемся?

— Конечно. Попросил присмотреть за домом.

— Ну кажется все. — Осман замолчал, потом тихо произнес, — прощай, мой дом, моя земля... постараемся недолго быть на чужбине. Жди нас.

Жена всхлипнула, но Осман мягко положил ей на плечо руку и она умолкла.

— Поехали, — проговорил он тихо.

— Трогай — негромко крикнул Аскер тому, кто сидел на первом фаэтоне и лошади, цокая копытами, пронулись с места.

Город еще спал. Небо только начинало светлеть. Когда фаэтоны выехали за Шуринские ворота, Осман встал, обернулся, долго глядел на крепость, длинную каменную стену, уходившую в сторону моря, на раскинувшиеся сады и что-то сжало его горло. Он пересилил себя, сел и закрыл глаза, словно решил вздремнуть.

Сытые кони бежали резво. Дорога была безлюдна. Только с восходом солнца, когда на землю легли теплые золотистые лучи, появились арбы крестьян, да и тех было очень мало: боялись белогвардейцев или красных фесок, охочих до чужого добра. В

полдень сделали привал на обед, отъехав от дороги в рощицу. Сидя за скатертью, Осман обратил внимание, что Керим ест без охоты.

После обеда, трясаясь в фаэтоне, Осман внимательно поглядывал на сына, который с трудом открывал слепящиеся веки.

— Что с тобой, сыночек, тебе нездоровится, — заволновалась мать, все еще находившаяся в горе и печали. — Положи голову мне на колени. Осман, он весь горит, Осман, он пропадет в пути...

— Молчи, жена, — хмуро произнес Осман и крикнул Аскеру: — сверни с дороги, сделаем привал.

Остановились под развесистым дубом, у родника. Для мальчика расстелили ковер, под голову подложили маленькую подушку, накрыли буркой. Все сидели в замешательстве, глядя на него и не зная, что делать.

— Ему бы трав сейчас целебных, — проговорил со вздохом Аскер.

— Ты сведущ в травах? — с надеждой в голосе спросил Осман.

— Где там.

— Так может из местных кто разбирается в травах? Аскер, сходи в селение, узнай, кто лечит травами. Обещай хорошо заплатить. А еще лучше — попроси его прийти сюда.

Аскер вернулся к вечеру. Рядом с ним шел пожилой крестьянин. Он был бедно одет, небрит. Крестьянин приветствовал их, подошел к Кериму, присел, приложил руку ко лбу, потом коснулся его губами.

— Я вижу, вы собрались в дальнюю дорогу, мальчика нельзя брать с собой.

— Почему нельзя, — вдруг закричала жена Османа, — я не могу его бросить... Аллах, за что ты нас так сурово караешь, чем мы провинились перед тобой, мальчик мой, никому я тебя не отдам...

Осман обнял ее за плечи, привлек к себе, успокоил, а про себя подумал: не дай бог, если с ней случится истерика.

— Объясни, земляк, почему нельзя? — спросил Осман.

— Кажется мне, у него горячка или лихорадка.

— Откуда тебе знать?

— Я лечил таких.

— Ну так вылечи. На награду не поскоплюсь.

Крестьянин усмехнулся:

— Думаешь, раз-два выпил настой из трав и уже встал на ноги? Быстрый. Недели пройдут. Но вылечить можно. А в дороге пропадет мальчик...

Осман посмотрел ему в глаза, и почему-то поверил. Снова заголосила жена.

— Замолчи, — взорвался Осман. — Ты чего хочешь, чтоб мы его похоронили в дороге? Или видеть живого? Замолчи, говорю. И оставаться мы не можем долго, — произнес он тихо, словно про себя. — Послушай, земляк, может, ты возьмешь его в свой дом, — с надеждой в голосе сказал Осман: — вылечишь, денег я оставлю тебе сколько надо, а потом отправишь в Дербент. Сделай благородное дело, прошу тебя как человек человека...

— Жалко мальчика, — проговорил крестьянин. — Надо взять к себе. Так к кому его отправить?

Осман задумался: к кому? К родителям жены? Но их крестьянин не знает и в городе не все знают. Джамал... Османа от неожиданной мысли даже бросило в пот. Джамал... А почему бы и нет. В дом этого бедняка? О аллах, о чем я думаю: не у Джамала же моему сыну жить. Джамал отведет его к Илдириму. Это уже родная кровь как-никак.

— Джамала знаешь? Джамала из Дербента.

— Пораспрошу, найду, — сказал крестьянин. — Впрочем, что-то я о нем, по-моему, слышал.

— Ну это уже лучше, — обрадовался Осман и ему показалось, будто камень свалился с плеч. — Это хорошо, что слышал. Значит, найдешь.

— Найду, и здоровым передам ему мальчика. Если решились, собирайтесь, поедем в селение, как-нибудь переночуете у меня, кто в доме, кто на сеновале, а кто в фаэтонах. У меня, не обессудьте, ни комнат нет, ни матрацев, ни одеял.

— Как называется селение, — спросил Осман, уже трясясь в фаэтоне. Крестьянин сидел рядом с Аскером.

— Магарамкент.

Крестьянин не обманул Османа. У него не оказалось ни лишних комнат, ни лишней постели. Под одним густо залатанным одеялом спали шестеро детей. При виде незнакомых мужчин и женщины жена крестьянина зажгла свечу, вызвала мужа в другую комнату, долго шепталась, потом пригласила их и расстелила постель, которую держали для гостей. Остальные заночевали в фаэтонах.

Проснувшись рано утром, Осман с женой подошли к сыну, спавшему под буркой. Осман осторожно разбудил его:

— Как ты себя чувствуешь, сынок, — спросил он тихо.

— Ничего, папа.

— Сынок, послушай меня. Мы уезжаем, оставляем тебя у этого доброго человека, который тебя вылечит. 'Делай все, что он будет говорить. Как вылечишься, он отвезет тебя в Дербент, к дяде Илдириму. Понял, сынок?

— Понял папа. Но я хочу ехать с вами. Как я буду без вас...
— Голос его сорвался.

— Ты болеешь, сынок, дорогу не осилишь... я хочу, чтобы ты был жив и здоров. Придет время, мы опять будем вместе.

— Хорошо, папа.

Горло Осману перехватило, он переборол себя, тихо обратился к жене:

— Едем. С Керимом все будет хорошо.

Жена стояла не шелохнувшись. Осман взял ее под руку и повел во двор: она шла как в тумане.

Крестьянин успел уже напоить и накормить коней и смотрел, как гости собираются в дорогу. Осман протянул ему мешочек с золотыми монетами и тихо проговорил:

— Прошу тебя, убереги его, вылечи и убереги...

— Будь спокоен, брат. Все будет хорошо.

Вскоре фаэтоны выехали со двора.

Керим, приподнявшись, вздрагивая от рыданий, долго смотрел в низкое окно вслед уходящим фаэтонам, пока они не скрылись вдали.

13

Отряд белых вышел к Ашага-Гапы¹ турьбой. Видно было, они торопились, и подгонял их страх быть захваченными.

Дорога уже гулко гудела от офицерских и солдатских сапог, когда воздух прорезал крик «азади»².

В мгновение ока смешалось все.

Джамал бросился на смуглого мужчину, подмял его под себя, потом схватил за грудки. Но тот оказался напористым, а может злость придала ему силы, только он обхватил Джамала за шею, и оба покатались по пыльной дороге. Джамал умудрился ударить его коленом в пах. Тот охнул и обмяк. Джамал взялся за эфес кинжала, вытащил его из ножен, но тут противник вдруг истошно и жалобно закричал:

— Земляк, побойся аллаха, что ты делаешь. Наши отцы и деды родились и умерли на этой земле, а мы пускаем друг другу кровь. Земляк, опомнись...

Рука Джамала с обнаженным кинжалом застыла в воздухе.

— Кто ты.

— Дербентец я, Илдириим, ты меня должен знать. Деверь Османа я...

¹ Южные ворота.

² Азади — свобода.

— Какого Османа...

— Купца Османа...

— Что же ты, поганец, с белыми, или отец для того тебя родил, чтобы ты обесчестил его могилу, стал врагом своего народа?

— Я не враг вам, нет... поверь, просто я хотел уйти с ними, чтобы не мешать вам, нет, что я говорю, чтобы найти сестру, Османа... поверь.

И этому ублюдку Осман хочет отдать своего сына, подумал вдруг Джамал, глядя в широко раскрытые, испуганные глаза Илдирима. Чему он может научить Керима, если сам лишен и чести и мужества. Вот лежит, распластался как червь подо мной... И он должен был стать воспитателем Керима! Тьфу. Да я ему и не займусь, что мальчишка у меня, в моей семье. Пропадай сам, ублюдок, в какой желаешь стороне, но мальчишка погубить я тебе не дам. А страху-то в твоих глазах, страху-то! Как же ты думаешь прожить остаток своих лет, ты, червь...

Джамал встряхнул Илдирима за плечики, отбросил от себя и тихо произнес:

— Благодарю аллаха, что ты деверь Османа. Из уважения к нему, слышишь, только из уважения к нему отпускаю тебя. Сгинь, чтобы я не видел и тени твоей.

Джамал вкопал и с обнаженным кинжалом в руке бросился в пущу боя.

14

Джамал опустился на истертый и выцветший палас, бросил взгляд на сьюфре¹ и, потирая руки, произнес:

— Покорми, мать, вкусно и сытно...

Жена бросила на белое сьюфре несколько плоских сухих лавашей, принесла в серебряной посуде сыр, налила в глиняные кружки кислое молоко. Она вышла и вскоре зашла, неся осторожно большую сковороду, на которой еще в масле продолжало жариться жаркое из коровьих кишок, печени и легких. Потом на сьюфре появились арбуз, дыня и виноград.

Сыновья сели, как всегда, по обе стороны от него, напротив расположились жена и Керим. Керим сидел, насупившись, отвернувшись от сьюфре. Джамал бросил на него мимолетный взгляд, отломил кусок лаваша, опустил его в сковороду и, пропитав жиром, поднес ко рту.

— Только наша мать может готовить такие вкусные блюда.

¹ Сьюфре — скатерть.

— Это твоя новая власть продает нам такие продукты.

— Ты так не шути, жена, — нахмурился Джамал. — Сейчас всей стране тяжело. И прошу тебя, при людях эти глупые слова не произноси. Опозоришь имя Джамала на весь Дербент.

— Не такая уж я дура...

— Керим, а ты почему не ешь? Не нравится? Может, голова болит? Не болит? Так чего ты ждешь? Когда в сковороде останется запах жаркого? Ну-ка, ломай лаваш и ешь, мужчина должен есть, чтобы иметь силу.

Керим нехотя стал есть.

— Ты живешь у меня потому, что так велел твой отец. Хороший он был человек, Осман. Хотя и не ходили мы друг к другу, куда уж нам ходить, я бедняк, он купец, но относились с уважением. Скажу тебе от сердца, человек он был с намусом. Но вот уехал зря, этого я не одобряю. Как можно уйти с той земли, где родились твои предки, твой отец давший тебе жизнь, где живет твой народ, который обучил тебя своему языку. Нет, этого я не понимаю. Я расскажу тебе, мальчик, сокровенное, о котором никто из моей семьи, кроме жены, не знает. В пору моей юности пригласилась мне одна турчаночка, гостившая в Дербенте. Прелестная, нежная, глаз не оторвать. Но и сладкий сон имеет конец. Однажды она уехала. Как потом я узнал — в Истамбул. Я места себе не находил. И в один из безрадостных для меня дней, ни слова не сказав родителям, ушел я из дома. Пошел пешком в Истамбул. Не буду тебе рассказывать, как я шел. Путь мой был долгим и не так весел, как я думал. На пропитание зарабатывал случайной работой. Но дошел. Только вот радости никакой не испытал. И не потому, что не нашел своей красавицы, да разве ее в таком огромном городе, как Истамбул, сыщешь. Не потому. Мне вдруг стало не хватать запахов моих пыльных улиц, моих накаленных солнцем камней крепостных стен, моего неказистого дерева, ладоней моей мамы, от которых всегда пахло теплым лавашем и сыром... Ничто не могло убить во мне эти запахи: ни шум Истамбульских улиц, ни его минареты и мечети, ни его каштаны, потрескивавшие на жаровнях... И я вернулся. И, подойдя к Ашага-Гапу, опустился на колени и глубоко вдохнул запах дороги, а потом обнял нагретые камни крепостной стены... Земля велика, стран и народов множество, а родина у человека одна и язык один.

Тооска по родителям бывает тяжела и мучительна, но по родине — во сто крат мучительней. Я бы ни за какое золото мира не покинул бы свой город, который облазил на четвереньках, обежал мальчишкой, обошел уже взрослым и изучил все его голоса и шорохи, испил студеную воду из родника Шейх-Салаха, собирал инжир и виноград, пусть даже с чужих садов и плантаций... По-

верь мне, мальчик, я ни за какое золото мира не отдам это жаркое, даже его запах.

Ешь, Керим, и помни мои слова, ты уже большой мальчик. А я хочу тебе добра. Хочу, чтобы этот город оставался как и прежде, твоим.

15

Вторую половину дня я посвятил нашей совместной прогулке по Парижу. Была середина сентября, когда небо остановилось густого синего цвета, а солнце ласкало и нежило, постепенно наливаясь соком, чтобы потом поджечь горизонт и сверкающие стекла домов. Париж был великолепен. Может быть, ты преднамеренно вывел меня на улицу в этот час, чтобы я влюбился в город? А не влюбиться было нельзя. Бульвары купались в золоте солнца, окна зеленых мансард начинали полыхать огнем, а белые ажурные балконы, опоясывающие этажи домов, бросали длинные тени и казалось, что огромные здания стоят в переплетении кружев.

Эйфелева башня вблизи мне не понравилась; я стоял под ней и недоуменно глядел на это хаотичное переплетение трубного металла, но поднявшись в стоместном лифте на третью смотровую площадку, был приятно поражен панорамой Парижа! Ты что-то мне говорил, но я не слышал тебя. Я просто смотрел на Париж, выискивая знакомые мне улицы, бульвары, соборы... Я наслаждался простором, красотой и покоем города.

Потом мы празднично шли по просторным улицам, и вышли к дому-музею Родена. Ты пригласил меня посетить музей.

Потом, ты повел меня в Тюильри, посмотреть на прелестных дев. Идти сквозь эти ряды под насмешливые взгляды было испытанием не из легких, но я прошел, ловя твою усмешку.

День отгорал, небо было в розовых полосах и пятнах, когда мы вышли на Елисейские поля. Я понимал, я чувствовал твоё желание раскрыть передо мною каждую страницу этой многовековой книги под названием Париж.

Ты взял такси, и машина помчала нас в неведомую мне сторону. Наконец такси остановилось у входа в кабаре. Здесь будет небезынтересно, сказал ты, это музыкально-литературное кабаре «Ловкий заяц». Быть в Париже и не посетить «Ловкого зайца» на Монмартре нельзя.

Ты и на сей раз оказался прав. Было поистине интересно: мы слушали музыку, смотрели канкан, пили кофе с коньяком, к нам подсади миленькие девушки, которых ты подозвал незаметно взглядом, но так же незаметно, после какого-то танца, я вышел из кабаре и ступил в темноту узких улиц. Я шел по каменной

мостовой и чувствовал на себе взгляды девиц, стоящих вдоль глухих каменных стен, источавших сырость.

16

Джамал проснулся до первых петухов. Он лежал, глядя на гаснущие звезды, потом встал, обул истоптанные чарыки, прошелся по веранде из угла в угол и, как был в нижнем белье, вышел во двор.

Было прохладно и сыро. Октябрь доживал последние дни.

Джамал медленно прошел до калитки, бесстрастно глядя на фруктовые деревья, теснившие небольшой двор, потом вернулся и присел у летней кухоньки на колченогую грубо сколоченную скамью.

Теперь бы жить и жить, сады закладывать, сыновей растить, а я старею, безропотно сказал он про себя и провел ладонью по бритой голове. Пятьдесят лет прожито, целая жизнь человека. А что я видел, что нажил? Если бы родиться вновь...

Джамал улыбнулся, хмыкнул и несколько раз ударил согнутыми костлявыми пальцами по труди: гулко. На здоровье обижаться не следует, подумал он, крепок еще, да и бритая голова молодит меня. Что это я стал расхваливать себя, как старая дева. Не дай бог мои мысли узнают приятели, люди.

Джамал встал и направился к веранде, увешанной тяжелыми гроздьями винограда, связанными суровой ниткой. А все-таки жить хочется долго, сказал он себе, время-то настало какое! Работай, прояви себя — и ты в почете, и уважаем. Не хочешь — через силу засучишь рукава рубахи, закатаешь штаны и побежишь за этими молокососами, сломя голову... Вон какой канал вырыли лопатой, киркой и ломом, не канал, а настоящее русло реки. Пыль глотали, комаров кормили, в грязи скользили и ползали, солнцем и потом пропитались, а строили. И пошла вода. И зацветут сады, заколосятся хлеба на радость детям нашим. Время-то какое настало.

Джамал поднялся на веранду, сорвал крупную ягоду с увесистой грозди черного винограда, отправил в рот. Он закрыл от удовольствия глаза и покачал головой: сладок, как наша жизнь.

Мысли его прервал истошный крик соседского петуха. Взлетев на пребень забора, он неистово кукарекал, багровея от натуги. Джамал сорвал ягоду, запустил ею в петуха. Тот захлопал крыльями и, продолжая кукарекать, слетел к себе во двор.

Время мне напоминает, горлопан, — пробурчал беззлобно Джамал, — я и без твоего крика свое время знаю. Тоже мне, страж времени.

Джамал сбросил с ног чарыки, босой осторожно вошел в

комнату и открыл ставни окна. На полу, на широком матраце, укрытые одним одеялом, латаным и перелатанным, спали трое мальчишек. Симон лежал на спине, подтянув одеяло под подбородок, Керим, упершись ногами ему в бок, наполовину вылез наружу, Гаврил свернулся калачиком в ногах Симона. Эх, дети, усмехнулся Джамал, надо же так куролесить во сне. Вставайте мои мальчишки, вставайте, — сказал он вслух бодро, но не громко, чтобы не испугать ребят. — Вставайте, вас ждет школа.

Симон открыл глаза сразу, будто и не спал, Керим долго ворочался, потом долго протирал глаза, пока не сел, скрестив под себя ноги. Гаврил продолжал посапывать.

— Вас ждет школа, — повторил Джамал, — выйдите во двор, умойтесь под краном, вода освежит и ободрит вас.

Мальчишки вышли во двор, а вскоре тишину утра нарушили крики и визг: Симон мылся под краном и брызгал водой на Керима.

— Жена, что ты замешкалась, — крикнул Джамал с веранды, обратившись в сторону летней кухни, — детям в школу пора.

— Не шуми, старик, детям в школу пора, — беззлобно передразнила жена, — не с петухом надо было сражаться ни свет ни заря, а разжечь огонь в куруге¹.

— Мужчинам — мужское дело, женщинам — женское.

— Если мужчины побьют всех петухов, что станется с бедными курочками... Да и людей обречете на голод.

— Что ты сказала?

— Яиц лишитесь.

— Договорились. — Джамал улыбнулся и спустился к крану. — Идите завтракать. Женщину хлебом не корми, только дай ей возможность развязать язык...

Позавтракав, мальчишки подхватили свои сумки и вышли со двора. Школа находилась в верхнем магале и дорога к ней проходила мимо дома, в котором еще недавно жила семья Османа.

Поравнявшись с калиткой, Керим невольно остановился, приоткрыл ее и заглянул во двор. Здесь все было, как при отце. Только напротив беседки, по другую сторону от дорожки, появилась еще одна, да звонкие детские голоса, смех и плач слышались во всем доме.

Керим обвел взглядом двор. Вот старое, большое путовое дерево, под которым он собирал крупные мясистые сочные ягоды, вот вишенка, а вот яблоня, на ней и сейчас краснеют яблоки, вон на верхних ветках, куда не добрались руки, а вот и виноградник,

¹ Куруг — сложенная из кирпичей печь, в которой пекут чурек или лаваш.

но уже без тяжелых гроздьев — съели... К горлу подкатил комок, на глаза навернулись слезы.

— Что ты тут высматриваешь? — за плечом раздался голос Симона.

Керим вздрогнул, тяжело вздохнул, опустил голову.

— Жалко стало, что дети едят? Они же сиротки. Ни отца у них, ни матери. Погибли за революцию. Пусть уж хоть фруктов наедятся.

— Пусть едят, мне не жалко, — пробурчал Керим.

— А чего ты сопли распустил?

— Наш дом...

— Был, — отрезал Симон.

— И остался бы нашим, — продолжал Керим, — если бы дядя Джамал согласился перейти в него. Давали же вам полдома?

— Да, давали.

— Чего ж не пошли? Не на глиняном полу спали бы сейчас, не в фанерном туалете сидели бы, облепленным мухами.

— Мой отец на чужое добро не зарится. Мы этот дом не строили, и ни к чему он нам. А вот сироткам нужен: у них никого на всем белом свете не осталось, пусть хоть этот дом и сад радость им доставят.

Симон повернулся и пошел скорым шагом, бросив через плечо:

— Так и мой отец сказал.

Джамал долго смотрел мальчикам вслед, стоял у полуразвалившихся ворот, потом пошел по двору, покачивая головой и размышляя: конечно, тяжело Кериму свыкнуться с нашей бедностью, что тут и говорить, семья жила в достатке, широко, не стесняя себя ни в чем, и вдруг ни семьи, ни достатка... Семью он постепенно забывает, годы камень обтачивают, не только чувства человека, но вот достаток... Ах, Керим, Керим, жалко мне тебя по-человечески, уж лучше бы ты не заболел, а уехал с отцом и братом, как бы то ни было и на чужбине был бы рядом с единокровными, и радость делил бы, и горе. А здесь все для тебя ново. Мы к этой жизни рвались, боролись за нее, головы сложили, детей сиротами оставили, а ты жил в достатке, рос хозяином. Кого винить в твоей судьбе? Винить-то и некого. Ах, Керим, Керим, как тяжело вырастить тебя таким, чтобы ты продолжал любить землю своих предков, а вырастить тебя таким я должен.

Джамал подошел к неказистым воротам, сколоченным из фанерных отходов долго смотрел на них, и вдруг с силой пнул их ногой.

— Вай, кто там рушит наше добро, вай...

— Не кричи, жена, это я, — подал голос Джамал.

— Ты что, старик, рехнулся, свой дом рушишь.

— Ха, ха, — Джамал заомеялся. — Новый буду строить, жена. Новые поставлю ворота и сад разведу. Вот тут, вдоль стены, разделяющей меня от соседа, посажу гранаты, инжир, миндаль.

— Я только и слышу от тебя: сделаю, посажу. Одни праздные слова, а дел ни на шои¹

— Ах, ты так заговорила, ну-ка неси сюда топор, ножовку, молоток, гвозди, в кухне лежат, в ящичке, неси, неси, а я доски перенесу, я тебе докажу, способен я еще работать на шои или нет.

Джамал принялся за дело. Спустя полчаса он строгал доски и сколачивал их, обнажившись по пояс.

Когда мальчики вернулись из школы, они не поверили своим глазам. Отец работал в поте лица.

— Чего глазеете, как совы, — шутливо прикрикнул на них Джамал. — Идите обедать и бегом ко мне. Будем ставить новые ворота.

Уже в сумерках, когда ворота были насажены на петли, во двор вошел Петр. Он крепко обнялся с Джамалом, потом отстранился, шутливо опросил:

— Что ты дышишь, как загнанный мерин?

— И не спрашивай, брат, целый день старую жизнь ломаю. Петр уперся взглядом в Джамала, ничего не понимая.

— Ну как ты не замечаешь, брат, новые ворота...

И обменявшись взглядами, они вдруг весело и звонко рассмеялись.

Проводив Петра в комнату, Джамал с мальчиками прибрал двор, умылись, потом все вместе сели ужинать.

— Вот ты сегодня организовал строительство у себя во дворе, а мы задумали крупное строительство за городом. — Петр отложил стакан и откинулся на подушку. — Завод будем строить. Стекольный. По нашим подсчетам выходит, что он будет самым крупным в России. И первым.

— Это хорошо. — Протянул Джамал, потягивая из стакана горячий напиток.

— Хорошо-то хорошо, да вот людей не хватает. Рабочие руки нужны.

— Какой разговор. — Джамал отложил стакан. — Я наберу людей.

— Нет, этого мало.

— Как мало? Ты же не знаешь, сколько я наберу?

— Мало, Джамал. Нужны каменщики, хорошие первоклассные мастера, плотники, разнорабочие. Тысячи мастеров. Где мы их найдем? В Армении, в Центральной России...

¹ Шои — пять копеек.

— Значит, ехать надо, искать.

— То-то, искать. Наш край мало кто знает, да сам знаешь, с насиженных мест не так-то легко снимается мужик.

— Значит, ехать надо, — повторил Джамал.

— Да, вот я и подумал: а не поможет ли нам в этом деле и Джамал. Он с простым человеком находит общий язык, душу его знает, мысли читает... Посылаем мы не одного тебя, ехать надо в разные края. А ты нам помог бы в этом важном деле. Подумай. И новые края повидаешь, и с новыми людьми наговоришься, а то Дербент, да Дербент, за стенами города ничего и не видел.

Джамал усмехнулся. Петр заметил его усмешку, добавил:

— Это я так, образно. А поглядеть на Россию было бы интересно.

— Подумать надо, — коротко сказал Джамал. — Хватит об этом. Давайте-ка лучше есть. Где твое говурме¹, жена.

— Несу, несу, — донесся голос из кухни.

Но прежде, чем зашла хозяйка, по комнате разлился вкусный аромат восточного блюда

17

Фаэтоны вырвались, наконец, из трясных и шумных окраин Тавриза и покатались по респектабельной, тенистой улице, застроенной особняками.

Фаэтон, в котором сидел Осман с женой и сыном, катил первым. Здесь, в Тавризе, Осман мог позволить себе не бояться нападений и вылазок бандитов.

Было далеко за полдень. Но солнце, словно присохший желток на раскаленной сковороде, источало жар. На узких улочках, заселенных ремесленниками и беднотой, оно раскалило стены ветхих домов, однако здесь, на булыжной мостовой, политой водой, под широкими кронами деревьев было довольно прохладно.

Осман велел Аскеру остановить лошадей у высокого двухэтажного дома с колоннами и высокими ступеньками и, спрыгнув с фаэтона, подошел было уже к ручке колокольчика, повисшей на чугунной калитке, когда на балкон вышел дородный мужчина в голубом халате, расшитом золотом. Увидев Османа, он сделал удивленно-радостное лицо, возвел руки к небу и громко воскликнул:

— Сам аллах прислал мне тебя, друг мой. Мой дом — твое владение, твоя крепость, прими лошадей, Пирвели, — крикнул он, слуге, — помоги гостям.

Он споро спустился вниз, обнял Османа, низким поклоном и словами «моя добрейшая ханум» приветствовал жену Османа,

¹ Говурме — жаркое.

привлек к себе Назыма и повел их в гостинную. Уже переступив порог гостинной, он вдруг хлопнул мясистой ладонью себя по лбу:

— Я ошалел при виде вас. Вместо того, чтобы дать вам возможность после долгой дороги помыться и отдохнуть, потащил на праздную беседу. Ну, не дурной я, что ты скажешь, Осман... Ха-ха-ха... Простите меня, брат и сестра, идите, располагайтесь, как у себя, отдыхайте. Для бесед времени у нас будет много.

Полчаса спустя, умывшись и приведя себя в порядок, Осман вышел на балкон, удобно расположился в плетеном кресле-качалке, и тихо проговорил:

— Вот такие дела, брат Велихан, еще несколько дней назад у меня был свой дом, свой город, свои деревья, свои прохладные аллеи в саду. Сегодня у меня три фаэтона, шесть лошадей и небо над головой.

— Увидев твой обоз, я сразу догадался, что произошло, — сказал Велихан, отирая платком бритую голову, — но при ханум не стал ни о чем спрашивать.

Велихан задумался, потом произнес:

— Неужели то, что они затеяли, серьезно? — И не дожидаясь ответа, продолжил: — Откуда у этой голытьбы столько ума, решимости, ненависти к жизни... Жили же веками отцы, деды, и не роптали, а этим подавай свободу, равенство, братство. Тыфу. Придумали слова, а теперь в них вдыхают жизнь свою. Надолго они, Осман? — вдруг резко спросил Велихан.

Осман пожал плечи.

— Вот, вот. Вы там дали им волю, вот они и взбрыкнулись. И кто отвечать перед аллахом за весь этот тахта-базар будет. И куда мы с тобой денемся... Ты на меня, брат, не обижайся, это я так, философствую, а честно говоря, не скрою от тебя, не дай аллах нашей голытьбе замутить ум: все побьет, разрушит. Подумать страшно.

Велихан замолчал, разгладил ладонью длинные пышные усы, и в это время со двора раздался голос:

— Хозяин, а хозяин.

Он удивленно округлил большие глаза, но тут Осман встал из кресла, подошел к перилам и глянул вниз.

— Что случилось?

— Хозяин, прости нас и не сердись, не держи на нас зло. Мы решили покинуть тебя.

— Расстаться с тобой, — уточнил другой. — Верой и правдой служили тебе, не обессудь, сейчас решили завести семьи, заняться делом, пока молоды.

— Ну что ж, воля ваша. Вам спасибо за службу, работали вы у меня исправно. Передайте Аскеру, чтобы выплатил вам; куда вы пойдете на ночь глядя, переночуйте, завтра уйдете.

— Спасибо за великодушие, хозяин.

Когда работники ушли, Велихан непонимающе взглянул на Османа и удивленно спросил:

— И ты их отпускаешь?

— А что мне с ними делать? Они же не рабы мои.

— Я бы не отпустил. И пикнуть бы не смели. Ну и мягкотел ты, друг мой. Ну ладно, дело твое. Пойдем-ка ужинать и спать.

Утром Османа осторожно разбудил Аскер. Осман сел на постели и тихо, почти шепотом, пристально тлядя в бледное лицо старика, спросил:

— Что еще 'стряслось?

— Коней угнали... — прошептал Аскер.

— Каких еще коней? Кто угнал?

— Гасан и Садык, ты их отпустил, а они и коней угнали. Двух коней...

— Этого еще не хватало. — Осман замолчал, потом прошептал: — никому не говори об угоне. Сделай так, чтобы Велихан не узнал, ну дай его работникам по несколько монет, сам знаешь, как поступать.

— Может, все-таки разыскать их и как следует наказать за воровство. Тут умеют наказывать, — Аскер зло хихикнул, — отсекут кисть руки или ухо...

— Что ты, что ты, бойся 'аллаха, — Осман встал, прошелся по комнате. — Из-за каких-то кляч... Никому об угоне, слышишь, не позорь меня перед Велиханом. Он достаточно насмеяется над нами, а тут еще угон кляч... Ни в коем случае, ты меня понял?

— Как знаешь, воля твоя.

— Ты лучше займись поиском небольшого и недорогого дома, где можно открыть и лавку. Поживем, приглядимся, прислушаемся, что происходит в дорогом сердце городе Дербенте, может, скоро придется возвращаться... как знать...

— Да услышит аллах твои слова, — Аскер поднял глаза к потолку, затем опустил голову и произнес, — в мои годы жить на чужбине, вдали от камней моих предков — горше смерти.

— Ну хватит, не бреди рану сердца, иди. — Осман отвернулся к окну, чтобы скрыть свое волнение.

Через несколько дней, благодаря поискам Аскера и большому коммерческому опыту Велихана, Осман купил небольшой старенький особняк за сносную сумму, сделал ремонт и поселился в нем. Жена тут же занялась хозяйством, сын Назым облюбовал запущенный сад, а Осман с двумя работниками принялся за обустройство лавки. Неделю спустя его лавку посетил первый клиент — Велихан. Он бросил взгляд на шерстяной палас табасаранских мастерц. и подмигнув Осману, громко воскликнул:

— Прекрасная вещица. И вообще, твоя лавка полна прекрасных вещей.

Выйдя вслед за работником, который нес покупку, перекинув через плечо, Велихан продолжал восклицать на всю улицу:

— Мои глаза увидели в лавке Османа то, чего не увидели у других. Верно говорят, Кавказ богат умельцами и мастерами...

После Велихана в лавку зашел сосед по дому, служащий полицейского управления. Он долго приценивался к кубачинским кинжалам и, наконец, решившись, выбрал себе один, попросив в долг. Прошло несколько дней, и клиентура достигла такой цифры, что Осман стал спокоен за существование и жизнедеятельность своего небольшого предприятия.

Теперь у него был дом, лавка, приятель, с которым вечерами пил чай, играл в нарды и вел длинные разговоры о том, что происходит на Кавказе, в России, предсказывал исход борьбы, конечно, желаемое выдавая за действительное, а на душе не было ни покоя, ни радости. По ночам ему все чаще и чаще стал снится Керим, покинутый дом, могилы родных с каменными, иссеченными временем, ветром, солнцем и дождями плитами, исписанными вязью... Но чаще всего Осман думал о сыне. Как там мальчик, спрашивал он себя и себе же отвечал: наверное, Джамал давно передал его Илдириму. Джамал человек честный, добропорядочный, верю ему. А вот Илдирим... Хоть бы дал знать о себе, а то живем в неведении. Бедный мой мальчик, если бы злая судьба не разлучила, был бы сейчас с нами, и печаль моя не была бы так мрачна, и взор мой не был бы устремлен на дорогу, и слух мой не искал бы твоего голоса, бедный мой мальчик...

Как-то ночью, мучаясь бессонницей, он впервые за последние месяцы, вернее за время приезда, обратился к жене.

— Спишь? — коротко и тихо окликнул он ее.

— Я давно забыла, когда спала. Дремлю, просыпаюсь... Только закрою глаза, как она протягивает руки и зовет к себе...

— Кто она?

— Земля наша... — Жена тихо всхлинула. — На какую муку мы обрекли себя. То за мной бегут могильные плиты, и я с криком просыпаюсь, ты не слышал моего крика?

— Нет.

— Значит, я кричу во сне. То меня ищет мой Керим, то на меня обрушивает ови камни Нарын-кала... Не знаю, как я не сошла еще с ума.

— Потеряли мы землю отцов, — проговорил Осман. — Я думал привыкну к другой земле, переборю себя, переломаю... не получается. Запах не тот, и цвет не тот... Кричит ее голос во мне, душу раздирает. Хожу по улочкам Тавриза, а перед глазами — мои магалы, слышу зов муэдзина, а перед взором Джума-мечеть,

пью воду, а пытаюсь вспомнить вкус родниковой воды Шейх-Салаха, а мое море... Какую же силу надо иметь, чтобы не отчаяться и не..

Осман не договорил, но жена поняла и твердо произнесла:

— И думать не смей. У нас дети, их надо на ноги поставить. — Она замолчала, опять тихо всхлипнула. — Помнишь, как я тебя просила, умоляла не уезжать, да разве вы, мужчины послушаетесь когда-нибудь женщину. Сидели бы сейчас в своем доме, в городе отцов и дедов, а здесь... кому мы здесь нужны, что нам здесь дорого?..

— Кто знает, как бы мы сейчас там жили? — с сомнением сказал Осман.

— Жили бы не хуже остальных. Женское сердце тоньше чувствует. Да ладно, не мучай себя и меня, постарайся уснуть. Кто знает, может нам еще улыбнется счастье и мы вернемся на родину. Кто знает...

Они проговорили до рассвета и следующую ночь, и еще одну, и еще... Успокоение не приходило.

Однажды на закате дня, когда шум улицы стал утихать, а жара спадать, к Осману, сидевшему у широких дверей лавки, подошел Аскер. Он прислонился к косяку, покашлял в ладонь, потом тихо произнес:

— Не омрачай сердце думами. Так и здоровье подорвешь свое, а на твоих плечах семья...

Осман взглянул на него, но ничего не ответил.

— Тебе надо уехать подальше... — Аскер опять покашлял. — Подальше, куда не доходят ветры родной земли, ее запахи... Подальше...

— Я думаю об этом, — проговорил Осман. — Ты говоришь, Багдад, Истамбул. Но ведь там такая же нищета, как и здесь. Ты посмотри на этих несчастных, живущих на грязных окраинах, пропитавшихся зловонием и пылью. На теле лохмотья, в глазах — молчаливый крик о хлебе. Разве на них можно глядеть без сострадания.

— А разве у нас не так было? — усмехнулся Аскер.

— У нас? Там? Нет, не так. До такой степени может докатиться только безвольное существо. У нас люди были не безвольны.

— По их милости мы и оказались здесь.

Осман бросил взгляд на Аскера, но не стал спорить с ним. Несколько минут он молчал, потом медленно проговорил:

— Вот может во Францию податься.

— Во Францию? — протянул Аскер.

— А чем она тебя пугает? Ты же предлагаешь дальше от ветра, запахов родной земли. Вот и я подумал о Франции. Чем она тебе не нравится?

— А почему она должна мне нравиться? — удивился Аскер.

— Вот именно, приложим все свое умение и жизненный опыт, чтобы она нам понравилась.

На улице показались Велихан и начальник городской полиции весело беседовавший с купцом и широко жестикулировавший.

Опять спешит за очередной порцией золотых монет, подумал Осман и зло сплюнул, — тьфу ты, пакостник. Каждый месяц заходит за своей долей, пивяка, тьфу. А я-то, глупый, думал, что здесь пивяки к нам не присосутся.

— На стакан чая можно к тебе? — широко разведя руки и улыбаясь, нараспев протянул Велихан.

— И на чай можно, — ответил Осман и овесил в поклоне голову перед начальником городской полиции.

18

В разные концы страны разъехались посланцы Дербента в поисках искусных мастеровых. Джамал поехал в Армению. Он рассчитывал, что людей этого горного края не придется упрашивать ехать на стройку. Кто из бедняков не согласится, думал он про себя, покинуть безжизненные горы ради хорошего заработка. Джамал еще крепче уверился в своем мнении, когда проежал по безжизненным степям Азербайджана. Он глядел из окна вагона на потряскавшуюся, иссохшуюся и выжженную горячим солнцем и выскобленную ветрами землю и торыко сокрушался о судьбе людей, которые пытались зажить в этих богом забытых местах. В степи вдруг появлялись несколько чахлах деревьев, низкие глинобитные домики, колодец. Небольшие огороды, пропеченные солнцем и нефтекачки. На жалостливый, протяжный гудок паровоза из домиков выбегали ребятишки и махали ручонками вслед уходившим вагонам. И жалкий оазис удалялся, а вскоре и исчезал в знойном мареве как привидение, как мираж.

Тяжела доля человеческая, думал Джамал, а там, в горах Армении, где вокруг голые камни, как рассказывают старики, во сто крат тяжелей. Разве сравнить их с нашими горами, покрытыми лесами, кустарниками, альпийскими лугами.

Как обескуражен, поражен был Джамал, когда столкнулся с упорным нежеланием жителей гор покинуть родные места. Селения, в которые он заходил, были как две капли воды похожи друг на друга: каменные домики, каменные заборы, каменные завалинки, камнем мощенные улочки, двory выложены камнем. Везде; куда не бросишь взгляд, камень, нагретый солнцем и источавший тепло. И ни дерева, ни кустарника. А люди и не помышляли покидать эти места.

Глубоко запал в душу Джамала разговор на закате дня в

селении Аревик. Удобно расположившись на теплой завалинке, мужчины вели непринужденную беседу. Говорили о новой жизни, о новых стройках, а потом и громко вздохнул белобородый столетний Ованес.

— Эти горы, — он поднял тяжелую суковатую палку и стал тыкать ею в сторону возвышавшихся вокруг селения скал — наш дом. Отчий дом. Их могли покинуть прадеды наши, деды, отцы, мы... Ведь сколько пришлось испытать... Но сидим, не уходим. Здесь — прах наших предков, наша история, наша судьба. Они, вот эти суровые, безмолвные горы, дали нам ремесло. Мы стали мастерами по камню. Искусными мастерами. Посмотри, дорогой гость, что творят наши резчики. Ты видел дом Самвела, или Карапета? От их искусной резьбы трудно глаз оторвать... А родник Аревик, который расписал Мартирос? А школу! А кладбище! Да, дорогой гость, горы нам дали ремесло каменотеса и резчика, как другим степи — ремесло хлебопашца и скотовода, леса — охотника, реки и моря — рыболова... Природа-мать всех наделила ремеслом.

Столетний Ованес замолчал, задумался. Потом, улыбнувшись в усы, тихо проговорил:

— А если тебе нужны мастера — дадим. И в других селениях соберем. Как же не помочь соседям в большой стройке.

Он тяжело поднялся, постучал палкой о каменные плиты и пошел шаркающей походкой, бросив из-за плеча:

— А теперь пойдем ко мне в гости. Дом мой посмотришь, детей порадуешь, о своем городе расскажешь. И вы тоже вставайте, послушать умного человека — что мудрую книгу прочесть.

Шестьдесят искусных мастеров привез с собой Джамал. А спустя неделю после заката солнца три каменотеса вошли во двор Джамала.

— Мир этому дому, есть здесь кто? — спросил один из них сильным голосом.

Джамал спустился с веранды.

— О, мои армянские друзья? Рад вас видеть, проходите, садитесь под виноградник... жена, поставь-ка нам самовар.

— Мы не чай пить пришли... — Они сели на расстеленный па-лас, скрестив по-турецки ноги.

— И все-таки сначала угощу вас чаем, а потом ругайте меня. Я ведь чувствую, что вы чем-то недовольны.

— От чая мы не откажемся, ваш чай славится, — армянин с привычным голосом улыбнулся. — А недовольства выскажем до угощения, иначе не в сладость твое угощение. Приехали мы сюда строить завод. Видим, завод будет большой. Приехали не только мы: много мастеровых с Брянцины, с Тамбовщины... Приехали с большим желанием работать. Устроили нас в палатках, в бара-

как; мы понимаем, стройка только начинается. Но как мы живем? Воды нет, днем и ночью — комары и гнусы, хлеб из города привозят с перебоями... Над свалками мусора гудят тучи мух. Среди мастеровых пошел ропот, уважаемый Джамал. Если так будет и дальше, уедут они. И каменотесы, и печники, и плотники... Обратились мы к начальникам... Главный инженер отмахнулся: мне, говорит, для вашего быта времени не остается. Мне завод надо поднимать. Неужели он не понимает, кто должен поднимать завод?

Джамал, глядя на его большие, тяжелые, испещренные бесчисленными бороздками и покрытые твердым панцырем ладони, внезапно вспомнил селение Аревик, каменные заборы, дома, улицы, скамейки, пропитанные солнечным теплом.

Армянин продолжал:

— Нас дома камни окружают со всех сторон, но такой грязи, не было и не будет... Вот пришли к тебе, уважаемый Джамал.

— И правильно сделали, что ко мне пришли.

После ухода гостей Джамал отправился к Петру. Дома того не оказалось. Что это за работа такая, сказал про себя Джамал, днем в исполкоме, ночью в исполкоме, когда же голове и сердцу отдохнуть! Так и растаять можно, как свеча...

Вытерев ноги о половик, он осторожно открыл тяжелую дверь, обитую черной кожей, вошел в кабинет и, подойдя к стене, опустился на скрипучий стул. Петр сидел за большим столом, уткнувшись в бумагу. Подняв голову и всмотревшись в Джамала, он откинулся на спинку стула, устало спросил:

— Джамал? По лицу вижу, что-то случилось.

— Случится, если будем сидеть в кабинете.

И Джамал подробно изложил жалобу мастеровых.

— Безобразие. Форменное безобразие, — тихо и жестко проговорил Петр.

— В безобразии виноват и я, друг мой. Как могло случиться, что я забыл этих людей. Ведь работаю бок о бок с ними, а ни разу не заинтересовался, как устроились, не зашел посмотреть, как живут... Или душа устает, черствеет?

— Ты-то при чем? Ты работаешь не меньше других, смотри на свои руки, они стали жестче камня, и лицо обуглилось под полящим солнцем.

— Нет, Петр, не пытайся снимать с меня вину. Я их сорвал с насиженных мест, привез сюда, я и в ответе. Срам, какой срам...

— Довольно казнить. Рано утром отправлюсь к ним. Поедешь со мной?

— А ты как думаешь?

И Джамал сгорбившись, словно под тяжестью вины, вышел из кабинета.

На вокзале Сен-Лазар Османа с семьей и работниками ожидал немолодой, но еще черноволосый, крепкого сложения, уверенный в себе высокий мужчина. В сером элегантном костюме и табачного цвета полуботинках он прохаживался по перрону, проигрывая бронзовой тростью с серебряным набалдашником, и скользил взглядом по лицам приезжих. Увидев Османа, он направился к нему, показывая в дружеской улыбке ровный ряд золотых зубов.

Добро пожаловать. Восточные люди почти всегда вокрешают в моей памяти... что бы вы думали? Национальные блюда.

— И какие же, к примеру, уважаемый? — удивленно и настоятельно спросил Осман.

— Долму из виноградных листьев, пити и тандырный лаваш.

Осман бросил недоумевающий взгляд на спутников, но тут мужчина разразился заразительным, непринужденным смехом, успокаивая Османа.

— Простите меня за разглагольствования мои. Увидел вас и вспомнил Тяндоку, я ведь из Гянджи. Вам Велихан разве не рассказал о моем происхождении?

— Не припомню, нет — сказал Осман.

— Ну, это непростительное с его стороны упущение. Он за чашкой чая изложит всю родословную. Это к слову. Сеттерхан, или Серж по-французски, так меня называет жена, — он чуть мотнул головой, представляясь. — Получив письмо Велихана, я долго думал, где вам подыскать дом. А потом решил: приедете, поживете пока в отеле, и сами присмотрите себе жилище. Не дай аллах не угодить вам — станешь вечным врагом. А я хочу видеть в вас друзей. Нас ведь здесь не так много.

Сеттерхан и Осман пересекли длинный перрон и вышли на улицу.

— Здесь, недалеко, приличный отель, «Морни», вам понравится, снимите семье апартаменты, и работникам комнату. И ходите по городу, приглядывайтесь к домам. Здесь все покупается и продается. А я всегда к вашим услугам. Да, чуть не забыл, вот моя визитная карточка.

Осман спрятал протянутый ему прямоутольник плотной гладкой бумаги, а Сеттерхан тем временем подозвал два фиакра.

Отель «Морни» Осману и его домочадцам понравился, он был уютный, красивый, даже импозантный, готовили блюда в ресторане отеля превосходно, но век в отеле не проживешь, надо было иметь свой дом, свой угол, да и делом заниматься.

Первые дни Османа знакомил с Парижем Сеттерхан. Брали с собой и Назыма. Уютно устроившись в фиакре, вслушиваясь в

ритмичный цокот копыт, купцы беседовали между собой, но беседа не мешала Сеттерхану знакомить Османа с улицами, бульварами и площадями, и особенно обратить внимание на дома, где продавались квартиры. Утомившись от качки фиакра и монотонного стука подков, они заходили в кафе или быстро и, опустившись в глубокие удобные кресла, пили «Наполеон», заливая черным кофе, а мальчику брали сок и мороженое. Особенно нравилось Осману посещать быстро, откуда открывался вид на Марсово поле и Эйфелеву башню. Эта громадная чаша площади со строгой архитектурой зданий и фонтанами и устремившаяся в небо металлическая конструкция вводили его мысли от оставленного дома, магала, родного города, давали короткую передышку уставшей, утомившейся душе.

Вскоре Осман стал выходить в город один. Он пешком ходил по его улицам, прислушивался к языку, заходил в магазины, присматривался и прикидывал, чем можно здесь торговать. Как-то он остановился у магазина, над входом в который висела броская цветная вывеска «Вартан». Вот так бы и мне, мелькнула мысль, назвать свой магазин своим именем: «Осман» и чтобы потом передать сыну, внуку. Этот Вартан тоже, наверное, покинул родину в поисках счастья, нашел ли он его? Осман шагнул было к дверям, но вдруг заставил себя остановиться и повернуть прочь. Не хочу, сказал он себе успокаивающе, если этот Вартан станет вспоминать свой отчий дом, причинит мне боль, а я не хочу боли, не хочу...

Опустившись через полчаса на широкой людной и шумной улице и бросив взгляд на трафарет, Осман приятно удивился. В честь кого? — спросил он себя, недоуменно пожав плечами и подняв брови. В честь кого? Бульвар Османа? Надо узнать. Узнать немудрено, Сеттерхан разъяснит. Вот если бы на этой улице открыть свой магазин! Как звучало бы: магазин «Осман» на улице Османа. Красиво... Да, да, только на этом бульваре, именно на этом я должен купить дом. И нигде больше.

Несколько дней Осман ходил по облюбованному бульвару от его начала до конца, заглядывал в продающиеся дома, примеривался к ценам. Наконец, он облюбовал два этажа в большом каменном доме, опоясанном ажурными белыми балконами.

В роли стряпчего Осман взял Сеттерхана и не ошибся. Сеттерхан сумел так обставить дело, что хозяин дома в конце концов не только заметно сбавил цену, но и помог найти таких ремонтников, у которых оказались быстрые и золотые руки. Не прошел и месяц, как дом Османа был готов. На первом этаже разместился магазин в пять окон. Из него вели две винтовые лестницы: одна наверх, где со вкусом были отделаны и обставлены пять комнат, впрочем, тоже не без помощи Сеттерхана, другая вниз,

в подвал, где хранились тюки мануфактуры, ковры и восточные товары.

И наконец настал тот день, когда Осман сел в кресло в дальнем углу магазина, и, перебирая крупные янтарные четки, встречал и провожал взглядом покупателей кивком головы веля своим работникам отпускать нужный товар, следил, как приобщается к делу Назым; быть предельно вежливым к клиентам он наставлял и учил его с первого же дня.

Время как будто утрясало все, Осман с домочадцами привыкал к другому городу, другому укладу жизни, но тоска... Тоска то и дело подкатывала к горлу, сжимая его безжалостными пальцами. И часто эту тоску нагоняли протяжные песни покинутой родины, которые напевали работники. Правда, старый Аскер, поймав взгляд Османа, тут же прерывал песню, но другой, молодой, и не думал. Он вкладывал в песню всю душу свою, вызывая у жены Османа слезы. Наслушавшись и наплакавшись, она уходила в свою комнату ложилась на диван, приложив к разболевшейся голове прелю со льдом.

20

Отель «Флорида», в котором мы жили, располагал к праздной жизни и безмятежному отдыху. И роскошные номера, и превосходная кухня уютного ресторана, и богатая гамма цветов расслабляли, вводили от жизненных забот. Я с любопытством осматривал богатое убранство предоставленных в наше распоряжение комнат и приданных к ним вспомогательных помещений с ваннами и раковинами удивительных, диковинных форм и цветов, восхищался патю с музыкальным фонтаном посреди. Если на время забыть о мировых катаклизмах, выбросить из головы омрачающие мозги и душу думы о будущем человечества,—это был бы райский уголок земли.

После легкого завтрака мы вышли из отеля. Улица была запружена машинами; они шли медленно, словно слепые, на ошупь. У монолитного серого здания вокзала Сен-Лазар сновали толпы негров, и голову беспрестанно буравила мысль, что это не Париж, а какой-то неизвестный, неведомый экзотический африканский город. Женщины, дети, подростки, мужчины с черной кожей, толстыми губами, с гордой осанкой вели себя как хозяева. Они уверенно и спокойно взирали на гудевшую вокруг жизнь. Совершенно свободно и спокойно держались полуобнаженные молодые женщины, и бесстрастно глядели тоже на гудевшую вокруг жизнь. По тротуару ступали высокие стройные молодые полицейские и тоже спокойно взирали на гудевшую вокруг жизнь.

Я с любопытством изучал парижскую улицу, но мой урок был

прерван мягко подкатившим малолитражным автобусом. Нас ждали в редакции газеты «Фигаро».

И снова меня приятно поразила роскошь, на этот раз конференц-зала.

В непринужденной, казалось бы приятельской беседе, мы с каждой минутой все больше убеждались в огромном различии целей наших газет. Нет в мире безыдейных изданий, даже в том мире, где правит капитал. И бульварные газетенки, порнографические журнальчики, вечерние листки, в которых не найдешь ни одного политического слова, ни одного лозунга, — они тоже несут в себе политический заряд — идеи своего общества.

Шеф — редактор «Фигаро» кичился тем, что его газета — королева сенсаций.

— Вы не ставьте нашу прессу в один ряд с вашей, — говорил он, пристально глядя мне в глаза: — Наши цели крайне различны. «Фигаро» — королева сенсаций, как, предположим, «Монд» — королева информации.

— Может быть. А впрочем, оно так и есть. Но сенсация, согласитесь со мной, не должна служить дезориентации, дезинформации общественности, разжиганию страстей, особенно националистических, нагнетанию пропагандистской компании.

— Что конкретно вы имеете в виду?

— Я вспомнил события в Закавказье. И как вы подбирали интервью с мест событий. А брали вы их только у боевиков, командиров так называемых «комитетов обороны». Целью газеты было скомпрометировать решение о введении чрезвычайного положения, представить дело так, будто для ввода армейских подразделений в Баку не было ни малейших оснований. Создать впечатление, что не было никаких погромов, что в городе нет такой необходимости защищать население от насилия. Что и насилия как такового не было. А суд вершили русские солдаты, которые ворвались в город без предупреждения, круша и сметая все и вся на своем пути, проливая кровь ни в чем неповинных людей.

Шеф — редактор «Фигаро» долго изучающе глядел на меня.

— Вы хорошо осведомлены о событиях в Закавказье?

— Если вы мне поверите..., а впрочем, вряд ли вы мне поверите. По крайней мере, лучше ваших корреспондентов. Но... я хочу вот о чем сказать... вы ведь неплохо были информированы о том, как развивалась обстановка в Азербайджане и Армении, сколько усилий предприняло советское руководство, чтобы урядить обстановку. Найти политические пути решения проблемы.

— О, вы мне делаете комплимент и заодно хотите блеснуть своей профессиональной и политической зрелостью? — Он снисходительно улыбнулся.

— Простите, я хочу сказать, что некая сенсационность вашей

газеты страдает необъективностью. Ваши журналисты позволяют себе нарушать профессиональную этику...

— Это их взгляд на события, беспристрастный взгляд журналиста. Мы не навязываем им свое мнение. Лично я признаю право любого государства на обеспечение безопасности своих граждан, а в данном случае это — главная цель. Безусловно, необходимо восстанавливать порядок, но с минимальным применением силы.

— Вы, очевидно, не могли не знать, что боевики, которым сочувствовали «Фигаро» и другие газеты, захватывали заложников, наплетали обстановку, нападали на военные объекты, военнослужащих, членов их семей. Их отряды насчитывали тысячи хорошо вооруженных террористов.

— Да, да, я был информирован и об этом.

— Но ведь издатель или шеф-редактор имели возможность наложить запрет на фальсификации...

— Вот тут-то вы и ошибаетесь. У нас каждый журналист имеет право высказывать свою точку зрения, свое мнение на события...

— Даже инсинуации...

— Он несет ответственность за каждое свое слово.

— Но бочку меда, в которую подбрасывают ложку дегтя, уже ничем не очистить.

Шеф-редактор поглядел на меня долгим взглядом, потом промком расхохотался.

— Но есть ведь катализаторы которые перегонят его в другой продукт. Вы владеете биохимией?

Мне нехватает еще биохимии, подумал я про себя, поняв его намек.

— Да, да, я вас прекрасно понимаю. Нам следует всегда заботиться о беспристрастности, соблюдении чувства меры и здравого смысла в информационной работе, чтобы информация действительно служила взаимопониманию между народами. Но... свобода слова, право на собственное мнение — оно, по-моему, часто мешает нам в нашей работе.

— Конечно. Мне вчера рассказали, как ваше телевидение взяло интервью у старых нацистов — эсэсовцев, но правительство наложило запрет на передачу. По принципу: не будите спящую собаку.

Шеф-редактор расхохотался промком и непринужденно.

— Вы мне нравитесь, ха-ха-ха, клянусь святым Себастьяном, с вами интересно беседовать, ха-ха-ха...

— Мне было интересно поговорить с вами, — сказал я ему, глядя в холеное лицо, — чтобы понять ваш метод работы.

В уличной сутолоке, я вдруг почувствовал, что мне не хватает тебя, Осман. Да, да, именно не хватает.

Нет, ты не ответил бы на мои вопросы, но мне все-таки не хватало тебя. Не хватало, чтобы поспорить, поговорить, излить душу, чтобы не нести думы в себе.

21

— Симон, сядь пониже, мне не видно, — прошептал Керим, макая перо в чернильницу.

Симон сполз ниже, вытянув ноги под партой далеко вперед.

— Не видно... Я сегодня, наверное, не сдам контрольную. — В голосе Керима чувствовались растерянность и нервозность.

Симон повернулся вполборота.

— Сейчас как?

— Придвинь поближе.

В классе стояла тишина. Чуть поскрипывали перья, то и дело стучась острыми клювами в чернильницы. Восьмиклассники писали контрольную работу по алгебре.

Керим заполнял торопливо, но чисто и прамотно, то и дело повторяя:

— Не спешу, не успею...

Керим весь превратился в нервный комок, сердце стало биться в груди сильнее, к горлу подступала тошнота, по лбу катились горошинки пота. Поддерживая обеими ногами, он старался не отставать от Симона: а вдруг шутки ради возьмет да сдаст свою работу, как быть в таком случае? Положить на стол недописанный лист, нерешенную задачу? Надо успеть.

Керим только раз бросил взгляд на класс, уставился в окно, сказав про себя: а на дворе уже вечер, как рано стало темнеть и снова принялся заполнять лист...

Внезапно он перестал писать, уставился в затылок Симона и прошептал!

— Дальше. Ты что, не решил?

— Все.

— Как все? У кого ж теперь спишем?

Симон, облегченно вздохнув, сел удобно, закрыв широкой спиной парту, и сказал, не оборачиваясь.

— Контрольная решена. Можно сдавать.

— Ты что-то сказал? — пожилой длиннолицый учитель математики в очках в тонкой стальной оправе поднял от стола голову.

— Контрольная решена — говорю.

Симон повернулся к Кериму и подмигнул ему.

— Ну что ты горланишь на весь класс. Решена — сдавай.

Симон поднялся и направился к столу.

Глядя на него, крепкого, широкоплечего подростка в холщовой застиранной рубашке, подпоясанной узким ремешком, холщовых нежного цвета штанах и матерчатых, натертых мелом, туфлях, Керим зажмурился и мысленно сказал себе:

— Какой стыд. Ведь я выгляжу точно как он, на мне те же опретья. Какой стыд... Неужели отец одевал бы меня в такую рубашку, штаны, нет, конечно, нет. Ну а если бы его, как сейчас красиво говорят, экспроприировали бы, забрали бы все для бедных, сумел бы он меня одевать иначе... Отец, если бы ты был здесь...

Керим попытался представить образ отца, но лишь смутные очертания лица его всплыли в памяти и тут же погасли, вытесненные наплывшим образом Джамала.

— Керим, ты пишешь контрольную или сочинишь поэму? Голос учителя вернул его к действительности.

— Я уже написал.

— Ну так сдай ее и сочини себе на здоровье песни.

Когда Керим возвращался к своей парте, Симон тихо спросил его: — Ты о чем размышлялся?

— О нас с тобой, — так же тихо ответил Керим.

— Подумалось: наденешь ли ты когда-нибудь приличное.

— Да ну!

— Ну конечно, сыну купца срамно носить холщовые рубашку и штаны, — протянул с издевкой Симон. — А нам можно, ведь мы, дети батраков, и их не имели...

— При чем тут купца, — протянул Керим и вдруг опрызнулся: — для того вы буржуев пропнали, чтобы тряпье носить?

Симон повернулся к нему лицом, посмотрел открыто и долго в глаза, потом улыбнулся и сказал:

— Придет время, и костюмы наденем, рубашку с галстуком. Ведь вот учимся же, скоро школу окончим, а разве прежде к грамоте допускали? Да что объяснять, не дурачок же ты. Конечно, тяжело тебе, да уж привыкай.

— А я давно привык.

— И правильно. И нечего себе душу тревожить.

22

Обедали молча в большой столовой комнате за круглым столом. Первые месяцы на кухне хозяйничала принятая по объявлению молоденькая красивая француженка Катрин, подстриженная под мальчишку. Легкая, быстрая, она успевала и поесть приготовить, и в квартире прибрать, и в магазин ходить. Но с некоторых пор за плиту встала жена Османа, и на кухне вновь аппетитно запахло долмой, пити, тоурмой, пахлавой, шекер-черегом и шекер-бу-

рой¹, различными восточными пряностями, остро щекотавшими ноздри.

Вот и в этот день на столе стояло блюдо с горячей дымящейся долмой, соусница с острым соусом, от которого исходил запах чеснока, зелень, плоские лавашы, прослоенные маслом, луком и орехом, графин с сухим вином, фрукты.

Обедали молча. Осман аппетитно отправлял в рот долму с виноградными листьями, запивал из бокала глотком вина, и снова всаживал вилку в зеленое тело виноградного листа, лоснящееся от жира. Назым раздевал вилкой долму, откладывая в сторону листья и ел горячее мясо с рисом. Жена Османа делила долму на дольки и медленно, нехотя, ела, без аппетита.

В дверь просунулась голова Катрин:

— Месье, вас там, внизу, требует какой-то господин, говорит, что родственник, я попросила его подождать, а он...

Договорить она не успела. Отстранив ее, в комнату быстро и уверенно вошел Илдирик. Сидевшие за столом, пораженные неожиданным появлением Илдирика, с минуту молчали. Затем Осман вскочил со стула, пожал протянутую деверем руку и усадил его за стол.

— Аллах праведный, — всплеснула руками жена Османа, — откуда ты явился спустя столько лет... Я-то думала, что ты остался там...

— Верно, мы думали, что ты там, — протянул Осман.

Илдирик, не обращая внимания на них, обследовав цепким взглядом стол, потянул носом воздух, схватил со стола десертную вилку и принялся жадно уплетать одну долму за другой, опуская в соусницу.

Осман переглянулся с женой; та снова всплеснула руками и дрожащим голосом протянула:

— Откуда ты явился такой голодный и обносившийся...

— Я не голоден, — сказал Илдирик, набивая рот, — просто давно, очень давно не ел наших блюд.

Он наполнил бокал вином, залпом осушил его и снова принялся есть. Наконец насытившись, откинулся на спинку стула и вдруг зло проговорил:

— Страна дураков, лентяев, лежебок, трусов. Так легко отдать ее голодранцам могли наши ленивые и трусливые толстосумы. Вам повезло, вы счастливо отделались, вы не видели, что творили простолюдины. Они захватывали дома имущих, выгоняли семьи. Они разграбили город, в котором родился и вырос я, мой отец, дед и прадед. Родина, моя родина, тыфу, сейчас там господствуют простолюдины, вчерашние наши батраки...

¹ Азербайджанские блюда и сладости.

— Подожди-ка, — прервал его Осман, — я слышал совсем другое.

— Ты слышал, и слышал уже издалека, а я видел, вот этими глазами. — Илдирик ткнул пальцем себе в глаза. — Да, да, вот этими. Я боролся, я сражался как мог. И ты знаешь, с кем столкнулся, схватился в одном из боев? С Джамалом, твоим соседом — голодранцем. Я всю свою злобу выместил на нем, сделал его на всю жизнь инвалидом. Ох, как я хотел уничтожить его, но зная твоё к нему отношение, даровал ему жизнь.

Осман слушал его терпеливо, не перебивая, почему-то переставая верить каждому произносимому им слову. Наконец, он спокойно и твердо произнес:

— Прекрати сорить словами. Скажи лучше, где мой сын Керим.

— Твой сын Керим? — Илдирик удивленно поднял брови. — Твой сын Керим? Не знаю. А он разве не здесь?

Лицо Османа побледнело, в глазах вспыхнула ярость.

— Я его послал к тебе. Где мой сын?

Илдирик бросил растерянный взгляд на сестру, на Назыма, и тихо произнес:

— Я его не видел.

— Не видел? Я его, больного, оставил в селе, попросив, как только выздоровеет, привести в Дербент, к Джамалу чтобы он передал тебе. И ты говоришь, что не видел Керима?

— Не видел... Когда я столкнулся с Джамалом, он мне ничего о мальчишке не сказал.

— Еще бы, ты его истязал, а он должен был о твоём племяннике вспомнить? — Насмешливо сказал Осман.

— Он, несчастный, от боли забыл о нашем Кериме...

Осман отвернулся от Илдирика и отошел к окну, жена его, не вмешиваясь в разговор мужчин, тихо всхлипывала.

— Если Керим у Джамала, с ним ничего не случится, не плачь, сестра, поверь своему брату. Слышишь, я повторяю: если Керим у Джамала, с ним ничего не случится, — проговорил Илдирик.

Осман не шелохнулся. Он смотрел в окно, провожал взглядом поток машин, спешивших куда-то парижан, и думал про себя: все, что сейчас здесь говорил Илдирик, вранье. Чистейшей воды вранье. Он с малых лет рос вралем и бездельником, им остался и в зрелые годы. Но последнее, что он сказал сестре о Кериме, должно быть правдой, должно быть.

Осман почувствовал за спиной чье-то присутствие. Медленно повернул голову: стоял Илдирик.

— Я пришел к тебе с делом, Осман. Я долго, очень долго искал тебя, наконец нашел и пришел с делом: возьми меня в компаньоны.

— Тебя? К себе в компаньоны? — удивленно поднял брови Осман. — Ты никогда не занимался нашим делом, да что мне говорить о тебе, сам знаешь себе цену. — Осман замолчал, после долгой паузы спросил: — Что у тебя есть?

— Как что есть?

— Какую долю ты вкладываешь в дело, ну, чем ты располагаешь, какими средствами?

— А никакими.

Осман посмотрел на него долгим взглядом и вдруг громко расхохотался:

— Узнаю Илдирима... Узнаю, наконец, Илдирима, этого бездельника и трепача. Слышишь, жена, вот твой братец, каким мы его знали дома. Ну и нахал, ну и хитрец.

И он снова залился смехом.

— Обзывай, как хочешь, я тебя прощаю. Только скажи, что согласен.

— Пристрой его к своему делу, — робко произнесла жена. — Все-таки он на чужбине, и одинок.

Осман вышел из комнаты, прошел в спальню, открыл потайной сейф в стене, достал из него не считая пачку банкнот и, вернувшись в столовую, бросил на стол.

— Возьми и займись делом.

Илдириим засунул руки глубоко в карманы брюк, весь вытянулся, как вытягиваются петухи перед кукареканьем, и удивленно поднял брови:

— Ты мне отказываешь?

— Возьми и займись делом, — повторил Осман.

— Своему родственнику? Брату по вере? Вместо того, чтобы протянуть мне руку участия, окружить заботой? Ты ли это, Осман, неужели очерствело твое сердце или оно всегда было черствым, безучастным к окружающим? Неужели тебя вскормил и вырастил тот древний город, в котором мы жили? В таком случае ты несчастен, Осман, и я плачу по тебе.

— Я сам давно плачу по себе, — Осман опять отвернулся к окну, — с того дня, как очутился на чужбине из-за таких балтунов и пустоголовых политиков, как ты и твои друзья меньшевики. Но... я не хочу об этом говорить. Возьми деньги, их тебе хватит надолго, и займись делом. Но ко мне не просись.

— Ты меня выбрасываешь за порог, — вдруг взвизгнул Илдириим, — на улицу, в грязь, в неведомое... Это бесчеловечно...

— Где ты был до сих пор? Сейчас у тебя деньги, иди, займись делом.

— Бездушный, аллах знает, кого наказывать. Очевидно, он не зря наказал тебя, убив Керима, да да...

Установившуюся было тишину испорчил крик жены Османа. Она

сползла на пол без чувств. Назым подбежал к ней. Осман подошел к Илдириму вплотную, жестко схватил за борта костюма и прохрипел в лицо:

— Что ты сказал, повтори...

— Пусти, прошу, пусти, — задыхаясь прошипел Илдирим, — больно, пусти же... Не знаю ничего, со зла, со зла сказал, пусти...

— Чтоб я больше не видел твоей тени в своем доме. Пошел вон...

И Осман с силой оттолкнул Илдирима от себя. Тот отлетел к дверям, потом, придя в себя, поправил костюм, неожиданно устремился к столу, схватил пачку банкнот и, не оглядываясь, выскочил из комнаты.

23

Джамал сидел во дворе, и медленно и вкусно пил чай, держа блюдце на растопыренных пальцах. На грубо сколоченном низком столике стоял заварной чайник, накрытый полотенцем, и глиняная вазочка с мелко наколотым сахаром.

Кончался день, и багровый свет поднатужившегося солнца, не желавшего скрываться за гору, заливал небо и перистые облака.

Над головой Джамала, подпираемые неотесанными стволами срубленных в лесу молодых деревьев, шатром висели виноградные кусты: крупные, увесистые гроздья белых и черных ягод застыли, опутанные серебристой шелковой паутинкой.

Было тихо. Жена ушла к захворавшей соседке, и Джамал в уединении потягивал чай, с наслаждением ощущая его терпкость и тонкий, нежный аромат. Он любил такие минуты: оставаться наедине с собой, расслабиться, и уходить воспоминаниями в прошлое, или в будущее. И ход его мыслей не нарушал в такие минуты ни писк голодной мыши, доносившийся из сарая, ни оживление кошки, ни глухой шлепок сорвавшейся виноградной ягоды.

Джамал выпил третье блюдце чая, когда скрипнула калитка. Он не обратил на скрип никакого внимания, нащупал в вазочке самый мелкий кусочек сахара и положил его под язык.

— Ты стал забывать законы гостеприимства, — раздался громкий, веселый голос. — На тебя не похоже. Зазнался. Или, может, в нэпманы записался?

— Годы... Я не властен над годами. И слух стал слабеть, и зрение. Кто же там идет, не вижу. Петр? Неужели Петр? Садись, дорогой, рядом, чаю попьем. Жена, принеси-ка чашку и блюдце... Ах, будь ты неладна, ее же нет дома...

Джамал встал и направился в дом.

— Да угомонись ты, я к тебе не чаевничать пришел, — крикнул ему вдогонку Петр.

— Такого чая, как у меня, ты нигде не выпьешь. — сказал Джамал, выходя из дома. — Еще не попробовал, а уже обижаешь: я к тебе не чаевничать пришел.

— А у тебя и слух стал слабеть, и зрение?

Петр и Джамал переглянулись, расхохотались.

— Находит на меня иногда такое, — проговорил Джамал. — Отвлекаюсь от всего, что окружает меня, и пускаюсь философствовать.

Он налил Петру чай, придвинул поближе к нему вазочку с сахаром, и потянулся к крупной виноградной грозди.

— Не срывай, — опередил его Петр. — Не хочу.

Отхлебнул чай, покачал головой, проговорил, — хорош. Выпил полблюда:

— Философствование, конечно, штука приятная, но философствовать надо не отвлеченно, а применительно к нашей действительности.

Джамал бросил испытующий взгляд на Петра, потом, протянув руку, сорвал от розовой грозди ягоду и отправил в рот. Выплюнул косточки, с улыбкой спросил:

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то хочу, дорогой товарищ мой и друг, что в колхоз люди плохо идут. Жить хотяг хорошо, иметь желают многое, а в колхоз плохо идут. Такая вот философия.

— В колхоз не идут? Вспомни, как отозвались о наших людях Орджоникидзе, Калинин. Как сейчас помню их лица, их слова... Какие люди... Орджоникидзе, Калинин... Ты представляешь, Петр, какие люди...

— Рабочие заслушались.

— А ты говоришь... в колхоз плохо идут. Пойдут, еще как пойдут, дорогой товарищ Петр.

— Так помоги, чтоб пошли.

— И помогу.

Джамал сорвал еще одну ягоду:

— Думаешь, я не понял, с чем ты пришел? Хитрый ты, брат Петр, да я еще хитрее. Ты, видно стал забывать что меня звали лоти Джамал из Дербента.

Оба тихо засмеялись.

— Годы, правда, уже не те. Шесть десятков прожил на белом свете. Но имя-то мое не потускнело, не поблекло. Лоти Джамал из Дербента, а, звучит? Знаешь что? Мы с тобой сейчас выпьем белого вина.

Джамал встал и споро направился в сарай.

— Не надо, мне еще в исполком идти.

— Ты как думаешь? — раздался голос из сарая. — А со мной ты сейчас не работаешь разве? Или не мне читал свою политграммату?

Джамал вышел, держа в одной руке глиняный кувшин, в другой глиняную тарелку с миндалем.

— Выливай из стаканов чай, будем пить, брат ты мой, божественное вино, притотовленное вот этими руками.

Петр ушел, когда сгустились сумерки, а чуть погода вышел со двора и Джамал. Заложив руки за спину и перебирая четки, он неторопливо направился в центр города, где строился большой кинотеатр.

Под черной тарелкой радиорепродуктора, вороной пригнездившейся к телеграфному столбу, на длинной грубо сколоченной скамейке сидели старики. Седобородые, все в каракулевых шапках, они молча перебирали четки. Джамал подошел, поздоровался со всеми, пожелав доброго вечера, тоже застучал костяшками четток.

— Ну что же ты молчишь? — послышался голос с другого конца скамейки. — Нам и без тебя скуки хватает.

— Не хочешь ли ты сказать, почтенный, что я принес скуку? — спросил Джамал.

— Не хочу. Оно и так видно.

— Меня зовут Джамалом не для того, чтобы я судачил о дырявом нижнем белье соседа, развешанном на сухих ветках транатового дерева.

Дружный смех стариков был ответом ему.

— Слышал, ворчун, как тебе ответил наш Джамал?

— От него только грубости и колкости услышишь, — донеслось с конца скамейки.

— Помолчите, дайте послушать черную тарелку, — проговорил хриплый, прерывающийся голос.

Он принадлежал почтенному Дадашу.

Репродуктор передавал вечерние новости. Где-то в России, название области старикам ни о чем не говорило, засуха погубила урожай, где-то строился большой тракторный завод, где-то крестьяне всем селом пошли в колхоз. Затем заиграл духовой оркестр.

— Вот теперь можно не скучать, — тихо сказал Джамал. — Ну разве не тревожный хабар: засуха погубила урожай. Или не радует весть: всем селом пошли в колхоз, — осторожно заметил Джамал.

— Прав почтенный, — раздался голос ворчуна, — никому не пожелал бы голода, тем более, когда власть наша, земля наша, и работаем на себя...

— А там крестьяне всем селом пошли в колхоз — вставил снова осторожно Джамал.

— Там пошли, а у нас не идут, — отпарировал ворчун с конца скамейки.

— И у нас пойдут, если не будут пугать людей — проговорил один из стариков.

— Пугать? Ха-ха-ха, — рассмеялся ворчун, потом закашлялся, помолчал, чуть погодя повторил: — пугать? Побойся всевышнего, кто может пугать людей пойти в колхоз? Кто осмелится на такой шаг?

— Есть такой, есть.

— Прав он, есть, — поддержал Дадаш.

— Так кто же этот негодяй? — Любопытство разбирало ворчуна.

— Ты уж так сильно не оскорбляй его, — усмехнулся Дадаш.

— Хорошо, не буду, но кто же этот человек?

Установилось молчание, потом кто-то тихо проговорил:

— Нахсин.

— Сторож мечети? — удивленно протянул ворчун. — Нет, не поверю. Благоверный, добропорядочный человек. Не поверю.

— Своего соседа спроси, он Нахсина часто видит.

— Спроси у сторожа о колхозах, он тебя вразумит.

Заговорили наперебой старики, покашливая, похихикивая, одни бросали колкости в адрес Нахсина, другие заступались за него, защищая от наговоров.

— Нам самим тоже надо что-то предпринять, чтобы люди пошли в колхоз, — сказал Джамал.

— Что ты сказал, повтори, — попросил Джамала сосед, представив ладонь к уху.

— Говорю, нам тоже надо что-то предпринять, чтобы люди пошли в колхоз, — громко повторил Джамал. — Советская власть нам добра желает, а мы еще раздумываем, брать это добро или нет.

— Верно ты говоришь, — высоким голосом заговорил сосед Джамала, — за эту власть мы тоже боролись, а теперь что получается: тому не прекословь — обидишь, тому не перечь — он человек всевышнего. Недостойно мы себя ведем, мужчины. При царе Николае не боялись городovým и жандармам правду в глаза говорить, руку на рукоять кинжала — и лезли в драку, а сейчас, когда власть наша, молчим. Я глухой, не все расслышал, о чем вы тут как курочки кудахтали, но одно скажу: позорно мужчинам молчать. Я все сказал, если кто услышал меня — спасибо.

— Спасибо и тебе за верные слова, дорогой Насим, и за несгареющую молодость, — проговорил, улыбаясь Дадаш. — Ты нам хороший урок преподавал.

Старики заговорили все сразу, Джамал встал, попросался, пожелав спокойного вечера, хотя на него никто не обратил внимания, и направился в верхнюю часть города.

Поднимаясь по темным улицам, прислушиваясь к стуку четок, Джамал думал, прикидывал, как ему подойти к сторожу Нахсину, и ничего не мог придумать.

Джамал поравнялся с дубовыми воротами Джума-мечети, как калитка в них скрипнула и на улицу вышел невысокий плотный мужчина в черной одежде. Увидев у ворот человека, тот остановился и, выпнув голову, устремил на Джамала взгляд.

— Слава аллаху, это ты, Джамал. Налугал меня. Что ты делаешь в такую пору у моих ворот?

— Ворота не твои. Нахсин, а всевышнего. Твои ворота в первом магале и можешь быть уверен, что их я никогда не переступлю. А эти принадлежат всем детям аллаха.

— Не вразумляй. Не так выразился, он мне уже прокламацию читает.

— И не думаю. — Джамал улыбнулся в темноте. — Ты у нас самый что ни на есть приближенный к аллаху. Разве я позволю себе кощунствовать.

— Верно, верно ты говоришь! Что мы стоим на улице, зайдем в мечеть, присядем, поговорим о жизни, о человеческих душах...

— Утомился я от бесед сегодня, в ушах звон стоит и голова тяжела, как казан.

— Прокламации читал людям?

— Нет, Нахсин, не прокламации читал. Ходил к друзьям молодости, их детям, спрашивал, почему не идут в колхоз.

— И что же? — после минутного молчания спросил Нахсин. Джамал затянул паузу.

— И что же говорят? — нетерпеливо переспросил Нахсин.

— Всякое говорят, — произнес Джамал.

— Мне было бы безынтересно знать, о чем они говорят.

Джамал опять затянул паузу, потом тихо проговорил:

— Какие-то люди пугают колхозом. Говорят, что дома, дети, жены — все будет общим.

— Астаупирулла, астаупирулла, — Нахсин обеими ладонями замахал на Джамала. — Какие глупости ты изрекаешь, астаупирулла.

— Глупости они изрекают?..

— А кто они? Не сказали?..

Джамал долго не отвечал,

— Имен не назвали. Но говорят, из тех, кто еще в восемнадцатом году туркам и белогвардейцам помогал. Чтобы Советов не было.

Установилось долгое молчание, которое никто не хотел нару-

шать. Край темного неба засветился: из-за горы выползла луна.

— Смутное, непонятное было время, — произнес наконец Нахсин. — Люди не знали, что происходит, куда катится мир.

— Люди знали, куда катится мир, — усмехнулся Джамал. — Потому-то одни бились за новую жизнь, другие за старую. Заболтался с тобой. Поздно уже, домой пора.

— Не торопись, вместе пойдем, ночь темная, не дай аллах и голову расшибить можно...

— Мало я таких ночей прожил?..

И Джамал неторопливо пошел вниз, к площади.

24

Был воскресный осенний день. Одни фруктовые деревья, освободившись от тяжелого бремени, стояли голые и сиротливые, другие еще гнулись под тяжестью плодов. Радовали глаз гранаты, айва, инжир, миндаль. Скрестив под себя ноги, прислонившись спиной к стволу яблони, Джамал, закрыв глаза, покачивал головой в такт музыке. Напротив него на подушках сидели постаревшие друзья молодости. Гюршюм, крупнолицый и крупноглазый, чуть прикрыв веки, играл на таре. Вартан, бритоголовый и с большим изогнутым носом на мясистом круглом лице, ежеминутно меняя выражение лица, так в нем сильно жипела страсть, водил смычком по кеманче. А Сеттер, выбивая сильными пальцами из бубна дробные звуки, пел. Пел, высоко задрав большую седую голову. Грустная, протяжная песня плыла над двором, который заполнили запахи гоурмы¹ и жареной рыбы.

Песня кончилась, музыканты отложили свои инструменты, достали из карманов кисеты и принялись свертывать самокрутки.

— Жена, где же наконец твоё угощение? — громко спросил Джамал, снимая шапку и кладя ее аккуратно рядом с собой.

— У меня не сто рук, — слышалось из летней кухни. — Когда управлюсь, тогда и подам угощение.

— Тебе не стыдно при моих друзьях так отвечать мне? — удивился Джамал. И тихо проворчал: — язык распустила.

— Не стыдно. Стара я, устала. Помощница нужна в доме. Женить бы старшего.

— Женить старшего? — удивленно протянул Джамал. — Ты что говоришь, жена? Ты думаешь, что говоришь? Он же еще птенчик, который и крыльев своих не пробовал. Ха-ха-ха-ха, рассмешила, жена.

— Да, да, да, и жени, пока не испортился.

¹ Гоурма — вид жаркого.

— Ну прекрати, — произнес Джемал. — Жениться должен мужчина, а не сосунок. Придет время, и орел найдет орлицу.

Не переставая ворчать, жена расстелила сюфре, положила перед гостями фади², овечий сыр, в сковородах гоурму и рыбу, графин белого вина, зелень, и сама села чуть поодаль.

— Не обижайся на мужа, сестра, — весело проговорил Гюршюм, протянув руку за кресс-салатом. — Он немного строг, но прав. Твоему старшему учиться надо, а подругу жизни он себе всегда найдет.

— Но мне тяжело. Четверо мужчин на моих вот этих плечах. — И жена Джемала повела плечами.

— Ты гордись, сестра, что у тебя четверо мужчин, — вздохнул Вартан. — У моей жены одни девочки, мне-то какво.

Все весело рассмеялись.

— Мы для чего боролись за эту власть? — Гюршюм мягко посмотрел на хозяйку дома. — Чтобы наши дети получили образование, жили лучше нас, интереснее. А для женитьбы, ты меня извини, сестра, много ума не надо.

— Да вот они и сами, возмутители нашего спокойного вечера, — воскликнул Сеттер.

Симон и Керим поздоровались и присели на скамейку, стоящую у веранды.

— Что за торжество, отец? — спросил осторожно Симон.

— Негодник, еще и спрашивает, — наигранно возмущился Джемал. — Окончание школы разве не наш праздник? Вот мы и отмечаем торжество, музыкой, песней. Ну-ка, сыны мои, признайтесь, подыскали ли вы себе невест? Не то мать женит вас на первых встречных.

— Какая еще женитьба? О чем ты, мама? — пробасил Симон. — Нам еще учиться.

— Тогда не надо было в чужие двери заглядывать, — наизда-тельно произнесла мать.

— В чьи двери мы заглядывали? Что ты говоришь, мама?

— Ты во двор Азизова, а Керим — Зейналова.

Джемал поднял удивленные глаза на жену и протянул:

— Посмотрите-ка на эту женщину! Все она знает и все скрывает от меня. Куда это годится? Так значит дочки Азизова и Зейналова, говоришь? Азизов — это мелкий торговец, что ниже училища живет? Пригожие у него девочки растут. И Зейналова детей я видел, одна краше другой. Вот что, друзья, — обратился Джемал к гостям, — поедем все, возьмем, что лежит на сюфре и с музыкой отправимся к будущей родне.

2 Фади — лепешка, испеченная на масле.

— Что ты говоришь, старый разбойник, какую глупость хочешь еще натворить? — всплеснула руками жена.

— Ну почему же глупость? — удивился Джамал. — Ты десять минут назад твердила, что надо женить старшего. Говорила?

— Неужели женишь? — проговорила жена, прижав руки к груди.

— А почему нет? Чем они хуже других. Поговорим с Азизовым и Зейналовым, сыновей отправим на учебу, получают высшее образование, приедут и женятся. Так я говорю, будущие орлы?

Симон и Керим, опустив головы, не отвечали.

— Все ясно. Вы сидите дома, а мы пойдем продолжать наш праздник.

Закончив трапезу, Гюршюм, Вартан и Сетгер взяли в руки свои инструменты и заиграли свадебную мелодию шолохо. С музыкой они вышли со двора. За ними степенно следовал Джамал.

После их ухода мать накормила Симона и Керима, потом ребята прибрали с сюрфе, вытрუსили и сложили палас, и сели на скамейку в ожидании отца.

Мать то и дело выходила во двор, прислушивалась и беззлбно ворчала:

— Старый дурак, не понимает, что в гостях нельзя заснижаться. В первый день надоешь хозяевам, во второй немил будешь.

Уже время приближалось к полуночи, а Джамала все не было.

— Не напился ли? — испугано шептала мать. — А может, что случилось?

— Мы пойдем встретим отца, мама, — сказал Симон, вставая со скамейки.

— Нет, нет, не ходите, он скоро придет, — успокоила она сына, а про себя сказала: разве можно детей отправлять в ночь одних! Не дай бог что случится.

— Это же недалеко, мама, — произнес Керим.

— Недалеко Азизов живет, а Зейналов в магале. Не смейте никуда ходить.

За полночь скрипнула калитка. Симон, Керим и мать устремили глаза в темноту. Двое мужчин несли на руках Джамала. Они поднялись на веранду и уложили его на тахту. Джамал тихо стонал.

— О всевышний, что же с ним случилось? — Мать всплеснула руками, засуетилась, забегала, не зная, что делать.

— Он лежал без сознания на улице в нижнем магале, — сказал один из мужчин, — недалеко от детского сада, бывшего дома купца Османа.

— О всевышний, что ему надо было в нижнем магале? Ну да, он же ходил к Зейналову, сватать ходил, насватал себе на голову...

— Видать, его ударили по голове, сзади. Принесите полотенце и воду, умойте его.

Мужчина снял с Джамала шапку. Голова была в крови.

25

Остро врезался в мою память вечер, проведенный в ресторане «Максим».

Ты все чаще искал со мной встречи, а при встрече все настойчивее приглашал к себе в гости. Я никак не мог понять причину твоих настойчивых приглашений. Неужели, думал я про себя, тебе что-то нужно от меня, и ты никак не соберешься, не осмелишься признаться? А может, замышляешь дурное? В последнее я почему-то не верил.

Вот и в очередной раз, когда ты меня пригласил посетить свой дом, а я отказался, заявив, что еще не знаю Парижа, ты замолчал а потом, вскинув взгляд, в котором я уловил затаенную надежду, предложил:

— В таком случае поужинаем вместе. Мы пойдем к «Максиму».

Именно так и сказал к «Максиму», а не в «Максим». Я согласился. И не жалею.

Вечер, проведенный в «Максиме», остро врезался в мою память. Не блюдами, запах от которых напоминал букет терпких осенних цветов, не залихватскими чередовавшимися с грустными русскими песнями. А людьми. Людьми, называвшими себя парижанами, но с русской тоской в глазах. Тщетно пытавшимися вспомнить некогда родные березовые леса, золотые плесы, ковыльные степи.

Я ясно вижу перед глазами престарелую чету, которая старческими шажками, но чинно вошла в ресторан. Он белый как лунь, одетый в темно-синий костюм, и она в сером платье до пят, и тоже седая. Он бережно держал ее под руку. Остановившись по-соседству с нашим столом, он выдвинул стул и чуть дрожащим голосом произнес:

— Прошу, сударыня.

— Благодарю, сударь.

Я вздрогнул от неожиданности, услышав русскую речь.

— Что будете заказывать, мон шер ами?¹

— Я полагаюсь на ваш выбор, друг мой.

Это было поразительно и невероятно: за тысячи километров от России увидеть и услышать двух престарелых россиян, волею судьбы заброшенных в Париж.

Поймав мой взгляд, он произнес, не отрывая глаз от меня:

¹ Мон шер ами (франц.) — мое сердце, моя душа.

— Мне сдается, мон шёр ами, сей молодой человек из России.

— Что ты, Сашенька, тебе почудилось, — прикрыв рот ладонью, тихо сказала она.

— Я это чувствую, сударыня.

Он встал, подошел к нашему столику, и, отвесив легкий поклон, спросил по-французски:

— Извините меня, мсье, что отвлекаю вас от трапезы, тысячи извинений, но удовлетворите мое любопытство: вы из России?

— Из России, — ответил я по-русски.

— Сударыня, Машенька, я же говорил тебе — из России, — по-детски обрадовано сказал он по-русски, повернувшись к спутнице. — Я же говорил тебе...

— Садитесь за наш столик, — предложил я.

— Благодарю вас, сударь. — Он вернулся к спутнице, помог ей подняться и, взяв под руку, подвел к нашему столику. Они сели и принялись в четыре глаза глядеть на меня.

— Боже мой, как далека Россия, — прошептал он, и в шепоте его послышалась безнадёжная тоска.

Она достала из черной сумочки белоснежный платок и приложила к влажным глазам.

— Как вы счастливы, сударь, если б вы знали, как вы безмерно счастливы, — сказал он тихо. — Вижу, вы хотели бы узнать, кто лишил нас этого счастья? Сами, сами лишили, по молодости лет.

Он замолчал. Сделав заказ подошедшему официанту, проговорил:

— Время было такое непонятное, смутное, в той круговерти брат терял брата, отец сына, имущие свое нажитое добро... Непонятное... Уехал Алексей Николаевич¹, уехал Иван Алексеевич², уехали и мы.

— Да мой друг, — сказала она, обращаясь к нему. — Нам казалось, что в России гаснет огонь творчества и никто уже не способен будет создать таких воздушных, божественных строк:

«Сквозь эту белую вуаль

Я вижу берег очарованный

И очарованную даль...»

— А тот, чей гений родил такую воздушную поэзию, неожиданно создает образы двенадцати апостолов, мужицкую поэму, воспевающую буйную стихию революции. Как не потеряться, как не заблудиться в поисках правды.

Я не перебивал их. Я дал им возможность излить свою тоску,

1 Алексей Николаевич — Толстой.

2 Иван Алексеевич — Бунин.

чаша которой не иссякала и не иссякнет до последнего дыхания их.

— Вы счастливы, сударь, — сказал он, — у вас есть своя земля, Россия. А мы словно пришельцы, пришли сюда никем не званные и ненужные и уйдем незаметные. Уж на что, сударь, был велик и известен Федор Иванович, а похоронили его на кладбище Ботильон, положили у изголовья камень и забыли¹. Придешь в минуту тоски к нему, а в изголовьи и ромашки полевой не увидишь, не то что букетов...

Он ссутулился, прилег грудью на край столика, опустил голову, потом вытянулся и посмотрел мне в глаза:

— Одно могу вам сказать, сударь, никогда мы с Машенькой ни единого худого слова не сказали о России нашей.

Она всхлипнула и тут же замолчала.

— Терпели многое: ломали образ жизни, талант молодости разменяли на потребу общества русских беженцев, или как они себя величают — русских парижан, но Русью не торговали. Да, сударь мой. Да что я на вас грусть-тоску навеваю. Расскажите, какая она сейчас Москва-матушка, Петроград, Ревель, Вильно. сохранили ли старину, старина ведь, сударь, это воспоминание будущего, школа жизни, если хотите знать, дада... Скажите-ка, сударь, а сохранили вы Чистые Пруды, Покровские ворота? Соборы и церкви, мы слышали, вам не приглянулись, и они теряли золотые маковки, таяли, как свечи, пока вы вдруг не образумились: для чего стирать с лица земли старую культуру, память о прародителях... Так сохранили ль вы Чистые Пруды?

— Живут и Чистые Пруды, и Покровские ворота.

— Слышишь, Машенька, Чистые Пруды сохранены. Вам знаком синематограф у Покровских ворот? Так вот в доме, в котором расположен синематограф, на третьем этаже мы и жили. Боже ж мой, как давно это было! — С тоской и болью в голосе протянул он.

— Но почему вам не доехать в Россию? Я понимаю, конечно тяжело прожить всю жизнь здесь... Но сумела Одоевская перебороть себя...

— Что вы, сударь, Ирина цельный, мужественный человек, Мы ее близко знали. Признаться, право, и отговаривали от поездки. В таком возрасте сударь, и в Россию? А как она мне ответила, надо было это услышать: пусть умру в дороге, но это смерть на пути в свою Россию. Так она ответила. А мы, два старых русских человека, боимся неизвестной нам России, да и мо-

¹ 29 октября 1984 года в Москве, на Новодевичьем кладбище, состоялось перезахоронение праха великого русского певца Ф. И. Шаляпина, скончавшегося в Париже в 1938 году.

гилы русоких не отпускают нас. Могилы Романовых. Голицыных, Юсуповых, ведь все они здесь... и Рахманинов, и Бунин, и Тарковский.

Он продолжал говорить, изливать свою больную по родине душу, а перед моими глазами проходили образы русских интеллигентов — Алексея Толстого, Александра Куприна, художника Билибина, артиста Александра Вертинского, Андрея Белого, И. Соколова-Микитова, Марины Цветаевой... «Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам, — писал А. Толстой. — Мы были просто несчастными существами, оторванными от Родины, птицами, сплунутыми с родных гнезд. Мы ели горький хлеб на чужбине... Совесть меня зовет... спать в Россию». А как трогательно, душевно, восторженно писал о своем отчем крае Александр Куприн в статье «Москва родная» в «Комсомольской правде»: «Душа отогревается от ласки этих незнакомых людей. Даже цветы на Родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей... На Родине все лучше!..»

Четверть века скитался по разным странам, вдали от родины Александр Вертинский. Четверть века его сопровождали шумный артистический успех и тяжелая, изнурительная тоска по отчому краю. Многие там, на Западе, называли его «сумасшедшим», «ненормальным», когда он в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, возвратился домой. Нет, не сумели разглядеть те «многие» в певце, а может и не хотели, его истосковавшуюся и изболевшую и по родной земле душу, когда он пел со сцены: «Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда... Уже в своих мемуарах он писал: «Все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался, — я отдаю за один, самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на Родине».

Несколько потоков эмиграции объединили творческий потенциал, творческую мысль России. В первые годы советской власти часть художественной интеллигенции не поняла и не приняла программу большевиков. В шестидесятые годы не позволялось мыслить широко и демократично, и смелое слово, честное произведение вызывало ярость лидера и предложение покинуть страну. Семидесятые, душные для смело мыслящих людей, вынуждали их самих уезжать за рубеж. Но страшная болезнь, с которой они никогда еще не сталкивались в своей жизни — ностальгия, или попросту тоска по Родине, обрывала их путь. На чужбине, во Франции, скончались Виктор Некрасов, Андрей Тарковский, Александр Галич...

Я слушал сейчас голос русского эмигранта и запечатлевал в

своей памяти образы двух престарелых людей, заброшенных то ли беспечностью, то ли страхом перед бурей событий на чужбину, но не забывших своего языка, отчего дома. И казались они мне двумя волею или прихотью судьбы уцелевшими листочками, оторвавшимися от березы.

26

Придя в себя, Джамал увидел жену. Она сидела у его изголовья и осторожно водила по лбу и лицу влажным полотенцем. По щекам ее текли слезы: она беззвучно плакала.

Как постарела Марал, а я и не замечал, как она постарела, — пронеслась мысль. Джамал зашевелил головой и тут же застонал от боли.

— Проснулся? На улице солнце заждалось тебя, что же ты так долго спишь? Твои друзья поминутно приходят и уходят, что же ты так долго спишь? Кто тебя хотел усыпить, кому ты в этом мире не угодил?..

— Не причитай, жена, я еще жив, — проговорил он еле слышно.

— Какой душман осмелился поднять руку на тебя, на моего Джамала, которого почитает весь город, да разве только город..

— Не причитай, сказал я тебе, — повысил голос Джамал и снова застонал от боли в голове.

— Не буду, не буду, успокойся, ни слова, ни звука больше не произнесут мои уста, замок повешу на них.

— Кто там сидит под окном, бараньей папайой заслоняет солнечный свет? — прошептал Джамал.

— Сосед Азизова Ашур.

— Лекарь Ашур?

— Да, лекарь Ашур.

— Чего он пришел? У нас в доме больных нет, жена.

— Прослышал о тебе, принес казан и бритву. Говорит, что тебе надо... в тебя надо жизнь вдохнуть.

— Кровь пустить вздумал?

Жена промолчала.

— Скажи ему, чтобы пустил кровь своим курам и индюкам. Я ему не птица, скажи...

Джамал скорчился от боли, которая, зародившись в затылке, поползла по позвоночнику.

— Успокойся, не разговаривай, тебе нельзя волноваться.

— Хорошо, вздремну немного.

Сквозь дрему Джамал услышал голоса, два голоса он узнал сразу, они принадлежали Симону и Кериму, третий был совершенно незнакомый. Он открыл глаза от прикосновения чужой руки, жесткой и тяжелой.

— А он, оказывается спал, просто спал, — круглолицый муж-

чина с мелкими, глубоко посаженными глазками, над которыми нависли густые мохнатые брови, глядел пристально на него.

Неприятное лицо, подумал Джамал, кто это может быть? Наглый и колючий взгляд.

— На улице такое солнце, словно весна вернулась, а вы спите... Лежите, лежите, не вставайте. Вас удивляет, кто я и почему вас тревожу? По глазам вижу. Я следовательно. Фамилия моя Кауров. Хочу выяснить, кто и почему вас ударил.

Джамал слабо улыбнулся и чуть заметно покачал головой.

— Вы не видели, кто вас ударил?

— У меня на спине глаз нет, — прошептал Джамал.

— А тень, может, тень заметили?

— Ночь была темная.

— Шаги хоть слышали? Шорох?

— Нет.

— Никаких звуков?

— Только постукивание.

— Четок? За спиной?

— Да, своих четок.

— Вы способны шутить, следовательно окончательно пришли в себя. А не приходит вам в голову мысль, что сверху могло что-нибудь упасть?

— Откуда сверху? — спросил шепотом Джамал.

— С неба, конечно.

— Если бы с неба падали такие тяжести, на земле не осталось бы ни одного живого существа. — Джамал хотел засмеяться, но только хихикнул и тут же лицо его исказилось от боли.

Установилось молчание. Жена Джамала намочила полотенце в холодной воде, выжала его и осторожно приложила ко лбу.

— Кто этот человек, сидящий под окнами? — вдруг спросил Кауров.

— Лекарь, — ответила жена Джамала.

— Лекарь? Вы что же, не вызывали врача?

— Врач приходил. Сделал уколы и ушел.

— А лекарь почему здесь? — не унимался Кауров, глазки его так и бегали от Джамала к окну и обратно.

— Кровь хочет пустить, говорит, больной тут же оживет, избавившись от дурной крови, — сказала она.

— Так это же хорошо. Пускайте кровь, — оживился Кауров.

— Не хочет, — она указала глазами на Джамала.

— Как так не хочет? — возмутился Кауров. — Человек печется о его же здоровье. Ну-ка приступайте к работе, — обратился он к лекарю и осекся.

Джамал чуть приподнялся, вперил взгляд в его маленькие бегущие глазки и вдруг что есть силы заорал:

— Убирайтесь отсюда. Во-о-он из моего дома!

И упал на подушки.

Когда вернулось сознание и он открыл глаза, голова была легкая и ясная, свинцовая тяжесть исчезла. У изголовья сидел Петр и большой, шершавой, теплой ладонью водил по его щекам и лбу.

— Что же ты, брат, свою марку теряешь. Лежи, лежи. Устал лежать? Ну присядь, прислонись на подушки. Кауров, говорят, был у тебя? Кауров...

— Выпнал его из дома, — сокрушенно произнесла жена Джамала, стоявшая в темноте, у дверного косяка.

— Не твоего ума дело, — сухо проговорил Джамал.

— Кауров... Кауров... — снова повторял Петр.

— Знаешь, что ли его? — спросил Джамал.

— Откуда мне знать его... Черт его знает... Да ну его, так ты все-таки заметил, кто тебя стукнул? Кто крался хотя бы за тобой?

— Нет. Ты знаешь, что слуха и зрения мне не занимать.

— Да и врагов у тебя в городе нет. Так ведь?

— Нет, конечно. С чего у меня могут появиться враги?

Джамал долго молчал, потом проговорил:

— Не было.

— А теперь?

— Знаешь, на что я ему намекнул? — задумчиво произнес Джамал.

— Кому?

— Сторожу Нахсину? На его связи с турками и белогвардейцами.

— Что же он тебе ответил?

— Дай вспомню... Не торопись, говорит, вместе пойдем, а дальше что он сказал, дай вспомнить... вспомнил: ночь темная, не дай аллах, и голову расшибить можно.

— И голову расшибить можно? — переспросил Петр.

— И голову расшибить можно, — подтвердил Джамал. — И расшиб-таки.

— Ты уверен, что Нахсин?

— Если не своими руками, то руками своего приспешника. Кому же еще надо расшибить мне голову, и за что?

— По логике вещей — да. Но доказательств — никаких. — Петр задумался.

— Не хочешь ли ты сказать, что я сам себе расшиб голову, — возмутился Джамал. — Напился у Азизова, затем у Зейналова, потом проводил друзей — музыкантов, поднялся к мечети, встретился со сторожем мечети, пьяный наговорил ему дерзостей, и когда во мне прозрела совесть, сгорая от стыда и позора, взял и рас-

шиб себе голову. Только чем, не могу придумать. У меня в руках были только четки.

Петр засмеялся.

— Не горячись, брат. Я тоже не сомневаюсь, что на тебя покушался Нахсин или его человек. Но доказать-то мы не можем. Ничем не можем.

— Не можем, — согласился Джамал.

— Так вот, если придет следователь Кауров, а он должен прийти, ни слова о Нахсине.

— Я тоже так думаю. Жена, — Джамал повернул голову к двери, — что ты стоишь, как догорающая свеча. Ты видишь, мой дорогой Петр у меня в гостях, где наши самые вкусные кушанья, неси все сюда.

— Я давно жду, когда ты велишь накрыть сюфре, — откликнулась жена.

— И открой окно настежь.

27

Симон и Керим уезжали на учебу в Москву.

Джамал шел по улице, опираясь на торбатую массивную палку: с того злополучного темного вечера у него часто кружилась голова и он смастерил себе подпорку, чтобы, не дай бог, не упасть перед людьми. Сухощавый, жилистый, подтянутый, в шестьдесят два года он выглядел крепким, бодрым мужчиной. Усы его и небольшая бородка снежной белизны красиво выделялись на мужественном загорелом лице. Зеленые глаза не потеряли блеска и смотрели открыто и прямо: в любую минуту в них можно было прочесть лукавство, хитрость, или гнев.

Позади него, шагах в пяти, шли жена и Гаврил. За плечами Гаврила болтались две тяжело набитые сумки. Женщина споро семенила, обутая в остроносые калоши и, тяжело дышала.

Она бросила взгляд на мужа и, внезапно, щемящее чувство жалости охватило ее. Боже мой, подумала она, когда же мы вылезем из этой проклятой бедности. Всю жизнь он боролся с нуждой, гнул спину. Гнул? Что я говорю! Нет, как раз он не гнул, не он ли пререкался с теми, кто заставлял его гнуться. Гордый был, самолюбивый, за это мне, наверное, и нравился. Да что бедность, вздохнула она, бедность ведь не порок, она человека не ломит. Слава богу, жить стало радостнее, вера в завтрашний день появилась. Вот дети закончат учебу, пойдут работать, тогда и заживем лучше.

Она еще раз глянула на шедшего впереди мужа и покачала головой. Разве в такой одежде она желала его видеть? Ходить бы

ему в черкеске с золотыми газырями и в хромовых сапогах, а идет — боже мой, в выгоревшей солдатской шинели, холщовых брюках, худых туфлях... Но идет... люди, вы только посмотрите, как он идет, гордо, красиво, осанка падишаха и будто на нем одежда падишаха. Вот таким только я его и знаю.

Декабрьское солнце ярко светило, но не грело. Улицы были пустынные, если не считать мальчишек, которые у ворот играли в алычки. Черные тарелки репродукторов, прилаженные к телеграфным столбам, сообщали последние известия. Потом из них полилась музыка, под которую идти стало как-то веселее.

По улице проехал автомобиль, сопровождаемый тремя десятками ребятишек и шлейфом пыли. Глаза Гаврила засияли восторгом.

— Мама, я хочу научиться водить такие машины.

— Закончишь школу, сынок, и пойдешь учиться.

— Это настоящее мужское дело — водить такие машины.

— Мужских дел много, сынок, но если очень хочешь — води, кто тебе не дает...

Джамал остановился, повернул голову и, лукаво улыбаясь, сказал:

— Ты сначала замости улицу, не то пыль всем нам глаза выест, и тебе тоже, будущему водителю. Гляди, если одни станут катить в автомобилях, а другие учиться в больших городах, мы из пыли и грязи никогда не вылезем.

И он снова пошел своей неспешной уверенной походкой.

— Что ты говоришь, старый? — в голосе жены сквозило удивление и возмущение. — Почему ты решил, что мои сыновья должны мостить улицы? Мало ты гнул спину на этой земле?

— Первым делом город надо строить, а потом катить в автомобиле, — бросил из-за плеча Джамал. — А что касается меня, я спину, насколько мне помнится, не гнул. — Он тихо засмеялся, потом продолжил серьезно: — правда, жизнь моя была не сытая, но спину я не гнул.

Их пререкания прервал звонкий мальчишеский голос:

— Эй, дедушка, смотри, не наступи...

Джамал бросил взгляд на землю и только сейчас заметил змейкой вытянувшиеся две веревки, потом поднял голову. На противоположной стороне улицы на телеграфном столбе, сцепив ноги, сидел мальчуган и завязывал веревки.

— Что ты там делаешь, постреленок? — спросил Джамал. — Или на земле уже места нет?

— Лозунг привязываю, не видишь?

— Лозунг?

— Ну, лозунг, или транспорант, как их там называют, вот

красная материя, сколько бы из нее сорочек вышло!.. — мальчуган присвистнул.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Крупская приезжает, комсомольцы мне так сказали.

— Вот комсомольцы бы и привязывали лозунг-транспарант. А то нашли кого поднять на столб. Гляди не упади.

Выйдя на перрон вокзала, Джамал заметил вдали силуэты двух ребят. Не Симон ли с Керимом там стоят, подумал Джамал, плохо стал видеть, лет десять назад, да какое десять — пять назад я видел хорошо, далеко видел, а сейчас все расплывается перед глазами... Время — разрушительница,.. чтоб тебе пусто было... Гаврил, — позвал он громко.

— Что, отец?

— Пойди, посмотри, не Симон ли с Керимом там стоят. Если они, позови.

Гаврил сбросил сумки к ногам матери и весело бросив: по моему, они, да, это они, с невестами своими — побежал.

Симон и Керим не заставили себя ждать. Они быстро подошли к отцу и стали, внимательно глядя на него.

— Это кто там с вами? Невесты ваши?

Ребята молча кивнули головой.

— Я не буду ждать поезда, мать вас проводит. Расплачется, станет причитать, я не переносу женских слез, поэтому не буду ждать поезда. А ей нельзя без слез: у матерей и любовь вся в слезах, и горе.

Джамал провел ладонью по голове Симона, потом Керима, вздохнул:

— Вы уже взрослые мужчины, оценивайте свои поступки сами, и чтобы ни в коем случае между вами не разгорелся огонек неприязни, который может перерасти в огонь вражды. Ни в коем случае. Вы — братья и друг за друга в ответе перед родителями, передо мной. Будут и тяжелые минуты, и грустные, они обязательно будут, жизнь не всегда сладка, как мед, и тогда вспомните, что ваш отец Джамал из Дербента никогда не склонял головы перед невзгодами. Я утомял вас, дети, идите к своим невестам.

— Береги себя, отец, — тихо проговорил Симон, глядя в зеленые глаза отца.

— О нас не беспокойся, — подхватил Керим, — себя береги и мать.

В душе Джамала что-то шевельнулось. Он хотел ответить детям, но в горле вдруг застрял ком, и он махнул рукой. Потом тяжело глотнув и откашлявшись, проговорил:

— Ну, идите, идите..

И не дожидаясь, когда сыновья отойдут, повернулся и пошел по перрону.

28

Керим направился по Охотному ряду к Манежной площади, когда у гостиницы «Националь» приметил молодого человека, который шел под руку с девушкой. Присмотрелся к нему, потому что и со спины, и по походке этот человек ему показался очень знаком. Не может этого быть, очевидно, я ошибаюсь, твердил он себе, а ноги несли его все быстрее и быстрее. Наконец, он перегнал примеченную парочку, дошел до улицы Герцена и, сворачивая на нее, обернулся на какую-то долю минуты и бросил быстрый взгляд.

Да, то был Симон. Он о чем-то весело говорил с белокурой девушкой, не обращая на прохожих никакого внимания. Более того, как определил Керим, он был поглощен своей спутницей.

Керим был удручен и потрясен. Он шел по улице, никого не замечая, весь во власти своих мыслей. Ну как же так, задавал он сам себе вопросы, так быстро забыть ту, оставшуюся в Дербенте, щебетать под ухом первой попавшей, случайно встреченной или искавшей встречи девушки... Как так можно...

Говоря с самим собой и не находя ответа на свои вопросы, Керим не заметил, как вышел к Никитским воротам. Остановившись и поразмыслив, куда двинуться дальше, он повернул на Суворовский бульвар и вскоре оказался на Арбатской площади. Блуждая глазами по толпе, он резко остановился, но шедший за ним мужчина наткнулся на него, чертыхнулся и заставил прибавить шаг. У кинематографа стоял Симон с девушкой. Отойдя в сторону, к углу улицы Арбата, Керим принялся воровато поглядывать на них. Девушка оказалась стройна, более того — изящно сложена. На ней была белая юбка, белая блузка с короткими рукавами, на голове белый берет. И обута в белые туфли на низком каблучке. Она часто закидывала голову, видно, смеялась.

Наконец, Симон с девушкой, затерявшись в толпе зрителей, исчезли за массивными дверями кинематографа, и Керим, втиснувшись в автобус, поехал в общежитие.

Здесь, в пустой комнате, ему стало невыносимо одиноко, тяжело, и он бросился на кровать, уткнулся лицом в подушку, пытаясь уснуть. Сон не шел. Так пролежал он несколько часов, вспоминая родной город, знакомые и милые сердцу улицы и магалы, инжировые и ореховые сады, раскинувшиеся за мельницей, каменную косу, на которую ходили рыбачить, и молодежный клуб. Вспомнил сурового на вид, но мягкого сердцем и доброго Джамала, веселого и шаловливого Гаврила, пока не скрипнула дверь. В комна-

ту, осторожно ступая, вошел Симон. Скинув туфли, он не раздеваясь прилег на кровать.

— Мы же с тобой обещание дали... даже больше — клятву.

— Не спишь? — удивился Симон.

— С тобой уснешь. Ты стал за юбками мотаться, как бабочка за нектаром...

— А ты что же, следишь за мной? Следишь, значит, за мной?

— Очень ты нужен мне, чтоб на тебя время тратить. Сам путаешься в ногах. С какими-то бесцветными блондинками. В нашей семье нравы были строгие...

— В какой это нашей?

— В той, купеческой, о которой ты сам подумал. Не в вашей...

— Перестань дерзить. Что ты помнишь о той семье? А что до этой барышни... Нравится она мне, понимаешь. Нравится. Ничего у нас с ней серьезного не получится, но нравится. А своей дербентской красавице раз обещал — придется сдержать свое слово. Как изрек наш любимый поэт, наступлю на горло собственной песне:

— Обещание — это не любовь. Ты уж сознайся своей невесте в неверности и попроси прощения...

— А ты, я вижу, умом перерос меня!

— Почему я должен быть глупее? Я сын купца, ты сын луги.

— Прекрати дерзить, не то сильно поругаемся.

Керим вскочил с постели и выбежал из комнаты.

Совсем рехнулся парень, произнес Симон, сел на кровати, потом нехотя обулся и вышел в коридор. Керима не было. Симон спустился во двор. Двор был пуст. Куда он мог деться, сказал про себя Симон, пожав плечами, как бы не натворил глупостей. И побрел по улице.

Была ночь. Поздно темнеющее небо обильно усеяли мерцающие звезды. В окнах домов погасли огни. Весенняя Москва быстро засыпала. Симон вышел на Котельническую набережную и пошел вдоль Москва-реки, недоуменно вопрошая про себя: куда он мог подеваться, идти ему не к кому, в кармане не густо, а вдруг возьмет и укатит домой? Не может быть, он не сделает этого, не должен. Бросить институт, учебу из-за блажи? Нет... Сколько пришлось помучиться, на какие хитрости идти, чтобы поступить... и вдруг бросить!.. Нет...

И Симон явственно вспомнил тот полный трагизма смеха день.

Экзамен по химии Керим не выдержал. Симон, одним из первых сдавший экзамен и теперь терпеливо сидевший на подоконнике в ожидании Керима, по выражению лица догадался: провал.

— Как же так? — сказал он коротко.

Керим пожал плечами.

— Рот хоть раскрывал?

— Раскрывал. Как рыба на суше. Ты ведь знаешь, что я в химии всегда плавал...

— Ну и дела, — протянул Симон.

— Да какие тут дела, — виновато усмехнулся Керим. — Сяду на поезд и укачу домой.

Симон так и ввелся в него взглядом.

— Укажишь домой? И станешь посмешищем для всего города? Нет, я тебе не позволю этого сделать.

Он спрыгнул на пол, заходил нервно от окна к дверям аудитории и обратно, потом вдруг остановился, взял за руку Керима и коротко велел:

— Идем.

В приемной директора он властно бросил Кериму, указав пальцем на стул: — жди. Не обращая внимания на секретаршу, открыл массивную дверь, и шагнув в кабинет, плотно притворил ее за собой.

За большим столом сидел бритоголовый мужчина. Подняв лицо от бумаг, он пальцами протер глаза и только после этого с удивлением оглядел темноволосого смуглого юношу.

— С чем пожаловали, милейший?

— Мы с братом пожаловали к вам из Дагестана. Край наш горный, суровый и возвращаться ему домой с позором никак нельзя. Потому и зашел к вам. И вот что хочу твердо вам сказать: если только вы его не зачислите в институт, я заколю своим кинжалом сначала его, потом вас, а затем уже и себя. Я сказал все.

Директор поднялся из-за стола, упираясь в него тяжелыми кулаками, набычился, и вдруг гаркнул:

— Вы что позволяете себе, лугать меня, директора института, вон отсюда, что б вашей тени здесь не видел...

— Извините, — тихо, но решительно проговорил Симон, — я не пугаю. Я предупреждаю...

— Во-о-он — заорал, побавровев директор, указывая рукой на дверь, — во-о-он.

Симон вышел в приемную, опустил рядом с Керимом.

— Ну как? Почему ты так бледен, и весь покрыт испариной? Не заболел?

— Сиди тихо, дай передохнуть...

В это время дверь кабинета резко распахнулась и в приемную выскочил директор:

— Мария, тут ко мне заходил один абрек, разыщи его срочно... Ага, вот он сидит с братом, торжествует свое нахальство и грубость, ну-ка зайди ко мне.

Он устремился в кабинет. Симон последовал за ним.

Директор взял со стола описанный лист бумаги, положил в конверт, закрыл его и протянул Симону.

— Возьми. Разыщи моего заместителя по хозяйственной части и вручи ему. И вон с глаз моих...

К заместителю Симон и Керим вошли вместе, теряясь в догадках о содержании записки. Высокий худощавый мужчина лет шестидесяти в очках разорвал конверт, прочитал записку и, вдруг побладев опустился на стул.

— Вам плохо? — шагнул к нему Симон.

— Не подходите, стойте там, — жалобно попросил тот. — Там, где стоите.

— Да что случилось? — удивился Симон.

— Пока ничего.

— Почему же вы боитесь нас?

— А как вас не бояться. Вот что пишет сам директор: «У посылаемых мною к вам абреков под косовороткой кинжалы. Весьма орочно поставьте Керима Османова на довольствие, выделите койку в общежитии, в противном случае они заколют кинжалами вас, а затем и меня...»

Несколько месяцев спустя директор разыскал в общежитии Симона и Керима и, вспоминая тот бурный памятный день, смеясь поведал, что его ошарашила, а затем и покорила этакая наглая смелость Симона. Случай был довольно редкий и вряд ли подобно этому мог повториться. И не убийства он испугался. Ничуть нет. В этой жаркой перепалке он мгновенно понял, что горцы приехали учиться, и они добьются своей цели, чего бы это им ни стоило. Таким ребятам надо и должно было помочь.

... Симон вышел на Красную площадь, присел на ступеньки собора Василия Блаженного и им вновь овладело беспокойство за Керима.

— Где его черти носят, — сказал он вслух. — Как бы не натворил чего худого. Вымахал под потолок, а ума ни на грош. Дур-р-рак...

Последнее слово он произнес со смаком, встал и медленно пошел по брусчатке.

— Где я его найду в таком огромном городе?

До самого утра бродил Симон по улицам, переулкам, скверам Москвы, зашел даже на Казанский вокзал, надеясь там увидеть Керима. Поиски были тщетны. Заглянув в общежитие, он отправился в институт на занятия. Войдя в аудиторию, Симон увидел Керима, сидевшего за скамьей с зажмуренными глазами. Он опустился рядом и устало спросил:

— Где ты был?

— Гулял, — буркнул тот в ответ, не открывая глаз.

Симон положил на скамью руки, опустил на них тяжелую голову и закрыл веки.

Он открыл глаза неожиданно. И ничего не мог понять. Рядом стоял седобородый профессор и указкой легонько поглаживал его по голове. Студенты безудержно хохотали. Он взглянул на Керима, сладко посапывавшего во сне, и сам разразился хохотом.

29

Были теплые Парижские предвечерние часы. По шумным, заполненным отдыхающими и спешившими с работы парижанам улицам и бульварам Назым, прогуливаясь, возвращался из лица. Уже вошло в привычку удлинять свой путь, выходить по тесным улочкам на площадь Звезды и уже оттуда, где гудят как пчелиный рой Елисейские поля и потоки машин огибают Триумфальную арку, возвращаться домой.

Назым любил этот гул, суету, просторы проспектов и бульваров, широкие чаши площадей, веселый нрав и раскованность французов и старался — искал повод и находил его — чаще бывать в толпе, на улице, нежели у себя дома, в магазине, где от родителей неминуемо к нему переходила непонятная, неясная, неосознанная тоска, где все вокруг — и мебель, и вещи хранили утробность, более того, таинственную настороженность. Среди сверстников он забывал и дом, и удрученных родителей, а на улице окунался в беспечную праздность. Те полчаса, которые он шел от площади Звезды до бульвара Османа, были для него самыми светлыми за день.

Назым остановился у своего дома и продолжал с любопытством разглядывать прохожих, когда под ухом прохрипел простуженный голос:

— Дай-ка, дай на тебя поглядеть, кажется, купеческий отпрыск! Ну конечно, он и есть. Как молодой хозяин ты еще не вступил в свои права? Что дико округлил глаза? Не узнаешь своего дядю Илдирима? Хорош же племянник, а в прочем, весь в отца. Вот стал бы ты молодым хозяином, вступил бы в свои права, и взял бы меня в компаньоны. И вправду взял бы, я верно думаю?

Назым глядел на дядю и все больше проникался к нему жалостью. Осунувшийся, с налетом желтизны на смуглом лице и в белках глаз, тот был одет в затасканный, помятый костюм, из-под которого выглядывала несвежая сорочка. Остроносые туфли на высоких скосившихся каблуках давно не знали цвета крема и прикосновения обувных щеток.

— Да какой из тебя сейчас хозяин, ты овца в доме отца, — дядя осклабился, показывая кривой ряд гнилых и пожелтевших от сигарет зубов. — Много у тебя при себе денег?

— Денег? — Назым растерялся. Он полез в глубокий карман брюк, приговаривая, — пять или шесть, да пять или шесть франков...

— Что ты сказал? — прохрипел со стоном дядя.

— Пять или шесть франков...

— Замолчи, закрой свой рот, чтобы я не слышал больше этого. Сказать такое родному дяде! Попрошайке и то больше подают. стыдно мне за тебя. А может, скрываешь? Посмотри-ка мне в глаза, прямо, нет, нет, не открывай рта, не хочу больше слышать о твоём богатстве, тьфу, о твоей щедрости. Ничего не поделаешь, придется обращаться к твоему отцу, или вернее — моему милому родственнику. Зайдем, что-ли, домой.

Илдирым взял Назыма под руку и решительно ступил в магазин

Осман сидел в глубоком кресле спиной к залу, наблюдая за посетителями в большое роскошное в позолоченной оправе зеркало, висевшее на стене. С утра у него было просто замечательное настроение, что не так часто его посещало: товар, прибывший из Ирана, имел хороший спрос, торговля шла бойко. С утра, с того самого часа, как высококачественные персидские ковры стали редеть в магазине, лицо его сияло загадочным светом. И только сейчас оно омрачилось, в ту минуту, когда в зеркале появился Илдирым с Назымом. Ни одним движением не выдал Осман своего настроения, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он продолжал спокойно взирать в зеркало, перебирая четки.

Илдирым подошел к прилавку, оглядел зал, потом обернулся к Назыму:

— Где твой отец? Куда он спрятался от меня?

Назым неопределенно пожал плечами.

— Ну и родственничек у меня, ну и скаредный мужик, скрылся, упрятался, эй, кто тут есть живой? Аскер, неужели это ты, а ведь на самом деле ты. Удивительно, что придает силы этим дряхлым рукам и ногам, что тебя держат на этой грешной земле и не отпускают к аллаху. Не открывай рот, не надо, я не хочу с тобой спорить, иначе весь мой гнев выльется на тебя и обойдет твоего скаредного хозяина. Скажи лучше, где он таится?

— Здесь я, — спокойно отозвался Осман.

Илдирым инстинктивно быстро вобрал голову в плечи, оглянулся, но одумавшись, тут же осмелел, и прохрипел:

— Не вижу своего богатого родственничка.

— Здесь я, — повторил Осман, — в кресле, спиной к тебе.

Илдирым, наконец, увидел его, подошел, осклабился:

— Ага, вот он где сидит, мой родственник. Посмотри на меня, вид мой жалок, и вызывает у кого сочувствие, а у кого и чувство омерзения. Я это понимаю... Ты даже не повернулся ко мне, зришь на мое отражение в зеркале... На мое отражение... Как ты

оказался жесток и эгоистичен. А ведь мы одного племени люди, более того родственники, еще горше — одинокие чужестранцы, оказавшиеся на чужбине, далеко от могил своих отцов и дедов, и тебе позволяет совесть вышвырнуть меня из дому

— Закрой свой рот и выслушай мое жесткое слово, — прервал его Осман. — Пока я жив, я буду проклинать денно и ночью тебя и твое имя за то, что ты лишил меня, мою семью и моих работников родины.

Воцарилось недолгое молчание, которое прервал Илдири́м.

— Не маленький был. Надо было думать своей головой.

— Не желаю больше говорить с тобой, уходи, — жестко произнес Осман.

— С удовольствием покину твой дом. — Илдири́м, болезненно улыбаясь, склонился в низком поклоне, потом резко выпрямился и зло проговорил. — Только дай мне денег. Без денег я пропаду. Я на своей шкуре испытал, что значит здесь быть не у дел. Тебе этого не понять. ты купец, ворочаешь тысячами, и на них покупаешь уважение, почет в обществе. А я — ничто. Так что... дай мне денег. Иначе я убью тебя, подожгу и магазин твой, и дом.

Назым, удивленный и пораженный дерзостью дяди, глядел то на него, то на отца, ожидая гнева последнего. Но молчание длилось долго. Наконец Осман повелительно проговорил:

— Вышвырните его вон.

Илдири́м не успел сообразить, что происходит, как двое работников железной хваткой сковали его руки, подвели к дверям и, распахнув их ногой, с силой выбросили как ненужный тюк.

— Вот так, сын, озлобляется человек, сам неспособный ни к чему и завидующий тому, кому сопутствует удача в жизни. Сядь в мое кресло, удобней. О чем я говорил?

Осман прошел до дальнего угла, перебирая четки, вернулся, затем прислонился к прилавку.

— Да, озлобленность — это страшная, коварная штука. Она грызет человека изнутри, как червь, въедаясь все глубже, жжет душу. Но есть одна штука, пострашнее озлобленности. Чувство ненужности. Оно опустошает человека, лишает его сил, способностей, уводит от деятельной жизни к безделью, безразличию, к гибели. К нашему несчастью твой дядя заражен обоими пороками: и озлобленностью и чувством ненужности. Особенно обострились эти болезни здесь, на чужбине. Ты почему ни о чем не спрашиваешь? — вдруг обратился Осман к сыну

— Я слушаю, отец.

— То, что слушаешь — похвально. Но если у тебя не возник

ни один вопрос, значит, я не сумел разбудить, потревожить твой разум.

— Меня волнует много вопросов, отец, но я не хочу их задавать сегодня.

Довольная улыбка легла на губы Османа, но он тут же согнал ее.

— Пойдем-ка наверх, ужинать пора. Аскер, — обратился Осман к работнику, — пора закрывать магазин. Да не забудь вынести из подвала новые товары.

Осман, а вслед за ним Назым поднялись по винтовой лестнице в гостиную. Уже в комнате, опускаясь на просторный диван, обтянутый огненного цвета велюром, Осман тихо сказал сыну:

— Не говори матери, что здесь был ее брат. Она еле выкарабкалась из болезней, а этот дармоед и бездельник своим появлением подтачивает ее силы. Червь... Нет, червь и тот на земле чем-то долезен, а он...

И Осман отрешенно махнул рукой.

— За стол сели вдвоем. Назым долго ждал мать, но прислуга, отправившаяся за ней, вернулась одна и сообщила, что хозяйка плохо себя чувствует и не будет ужинать.

— Ты ешь, сын, ешь. За мать не волнуйся. В народе говорят, что женщины выносливее мужчин, оно и верно. Природа их одарила прекрасным здоровьем. Но чувствительность их беспредельна, а иногда, я бы сказал, совершенно нелогична. — Осман задумался, затем продолжал: — Они сочувствуют и знакомому и совершенно чужому, жалуют пичужку и кошку, кролика и змею... Не могу до сих пор понять, что направляет их поступки: разум, сердце или еще что-то...

Звон разбитого стекла заставил их вздрогнуть. Они переглянулись, потом одновременно вскочили из-за стола и устремились вниз.

Витринное окно магазина зияло как пустая глазница, пол был усеян мелким, дробленным стеклом.

С улицы вернулись Аскер с работниками. Аскер устало опустился на стул и, не глядя на Османа, проговорил:

— Оббежали весь квартал. Никого. Мне сдается, это дело рук Илдирима. Со злости. Или сам, или подкупил какого-нибудь бродягу, а то и сорванца. Что ты молчишь?

Осман продолжал молчать.

Назым долго глядел на отца, уставившегося в пустой квадрат окна, потом осторожно притронулся к его руке:

— Не надо об этом думать, потеря не велика.

Осман поднял на него глаза, полные тоски и грусти, и негромко произнес:

— Да разве об окне моя печаль, или об Илдириме? О тебе

моя печаль, сын. Все, что у меня есть, будет твое. Жизнь твоя будет безбедна, если умело распорядиться добром. Я живу для тебя и тобой. Ты моя единственная связь с родиной, память о ней. Был бы рядом Керим — мне было бы вдвойне легче, а тебе тем более — и помощь была бы, и опора, и поддержка. Старший брат, что отец для младшего. А чего достигнешь один, к какой пристани причалишь? Пока я жив, пропасть твоей душе не дам, а там — кто знает, как может обернуться жизнь.

— С голоду не умру, и побираться не стану...

— Я не о том. Я о духовной жизни. Часто ночами не сплю, все думаю, что будет знать мой внук о моей родине, о земле дедов, на чем языке будет говорить он, чьи песни петь...

— Я его научу, отец, нашему языку...

— Научить языку, танцам, обычаям — это уже не то. Вот когда живешь среди своих — и слова, и музыку, начиная с колыбельной, впитываешь с молоком матери, даже свои кушанья ешь по-своему, густь, как говорится, не цивилизованно, но по-своему... А тут женишься на какой-нибудь из потаскушек, которым за окнами числа нет, воспитает она сына по образу своему — и превратится ниточка с родиной...

Осман обнял Назыма за плечи, потом слепка подтолкнул к винтовой лестнице:

— Пойдем, попытаемся заснуть. Уже поздно.

30

Мы ехали на встречу, организованную ассоциацией работников средств информации, ожидая выслушать всякие вопросы.

Конференц-зал был набит до отказа. Люди стояли в проходах. В глазах одних читались любопытство и интерес, других — насмешка и охидство, третьих — настороженность, четвертых — опасение: возможно, за неудачные наши ответы? Так или иначе, но все были заинтересованы в разговоре.

Первые вопросы были безобидны: сколько в России газет, почему многие из них выходят многомиллионными тиражами, как живут наши журналисты...

Отвечали журналисты, как договаривались между собой, по порядку: как сидели за столом.

Наконец, был подброшен первый острый камешек, именно в тот момент, когда очередь дошла до меня:

— Мы часто пишем и говорим, что на западном рынке российских товаров или их очень незначительно, или их вовсе нет. И имеем для этого основания. Почему вы не развиваете свою промышленность?..

Товарищи посмотрели на меня. В их взгляде застыл вопрос: выручать?

— Во-первых, потому, что мы много и часто экспериментируем, нас не оставляют в покое реформаторские идеи, или если хотите откровенно — революционный синдром.

В зале послышался смех.

— А во-вторых... — Я расстегнул ремешок своих золотых часов, снял их с руки и положил на стол. — Передо мной лежат наши часы марки «Победа». Выпуска 1950 года. Теперь — будьте добры пусть человек десять снимет с рук часы и откроет заднюю крышку. Открыли? Ужого написано на механизме «Made in USSR»?

— Есть такие, — послышалось из зала.

А теперь поднимите руки, кто обнаружил такую надпись? Так, шесть. У шестерых из десяти. Значит, шестеро носят отечественные часы. Объясняя, как это получается. Франция закупает у нас часовые механизмы, не уступающие лучшим первоклассным западным маркам, поскольку себестоимость наших ниже, и заключают ваши отечественные механизмы в собственные корпуса, маркой марки Франции. Для большей информации: наши часы покупают ФРГ, Англия, Бельгия, Нидерланды, Канада и многие другие страны.

По залу прокатилась волна оживления, раздались смешки в адрес незадачливого вопрошателя. Я продолжал:

— Чтобы вы имели представление об авторитете нашей тяжелой промышленности на зарубежных рынках, могу сообщить вам несколько ярких фактов. Право пользования разработанным нашими специалистами методом непрерывной разливки стали купили у нас двадцать шесть фирм, производства жидких самотвердых смесей — тринадцать, испарительного охлаждения доменных печей — двадцать четыре, лицензию на установку сухого тушения кокса — семнадцать. Думаю, фактов достаточно. Мы ведем торговлю более чем со ста странами и если бы экспортировали товары низкого качества, вряд ли с нами кто-то захотел торговать. И потом... вспомните, что мы в некоторых областях впереди западного мира. Первым наш человек Юрий Гагарин покорил космос, первым наш человек Алексей Леонов вышел в открытый космос, первой наша женщина Валентина Терешкова побывала в космосе, первой советская женщина Светлана Савицкая вышла в открытый космос... Это, согласитесь со мной, о чем-то да говорит.

В зале раздались аплодисменты.

— В вашей стране идут реформы. Довольны ли вы ее ходом?

— За короткий срок реформы не завершишь — это все у нас уже создают. Если в центре что-то и делается, периферия очень медленно раскачивается, а кое-где и не желает раскачиваться.

ся. Прежний чиновничий аппарат продолжает руководить по-старому. Вы же читаете сообщения, что происходит в иных областях и республиках: от прямого недоверия к аппарату до забастовок. Даже если реформы не оправдывают всех наших надежд, она ценна уже тем, что развеяла образ врага, империи зла, как вы нас представляли.

— Не хотите ли вы сказать, что коррумпированные чиновники, мафиози саботируют ваши реформы?

— Это я и хочу сказать, Приведу вам такой пример: в прошлом году из двухсот пятидесяти видов остродефицитных товаров, закупленных за рубежом, трудящимся было продано только девять. А на прилавках магазинов из тысячи наименований товаров осталось около ста. Вы ведь сами прекрасно об этом проинформированы. А насилие в Азербайджане и Армении, вооружение боевиков, без кровопролития — здесь не обошлось без мафии, время открывает их лица народу.

— Почему вы долго воевали с Гитлером? — раздался из зала высокий голос.

— Вы знакомы с историей второй мировой войны?

— Знакомы, и неплохо.

— Не могу разделить вашего мнения. Иначе вы имели бы хоть маленькое представление о том, что мы направляли свои усилия на строительство новой мирной жизни, оборонная промышленность была еще слаба. А на гитлеровскую Германию работала вся Европа. И нашему народу пришлось ускоренными темпами развивать экономику, эквивалентную экономике Западной Европы. И с успехом это сделали, и Гитлера разбили, и народы Европы спасли от фашизма.

— Ваше мнение об афганской войне. Ваше отношение к ней...

— Но ведь мы уже свое отношение высказали. Назвали и виновных, тех, кто дал команду ввести войска в эту страну. Я лично скорблю не только по десяткам тысяч погибших и изувеченных наших ребятах, но и по сотням тысяч погибших ни в чем не повинных афганцев. Что они понимали в политике Тарраки или Амина? Ровным счетом ничего. Они пахали землю и разводили скот, пять раз в день совершая намаз, а им некоторые горячие головы решили дать демократию. А жизнь показала, что демократию, тем более социализм, на бронетанках не ввозят.

Мне очень хотелось, Осман, чтобы ты сидел в этом конференц-зале, слушал нас и постарался понять, какие усилия понадобились нашему народу, и надобно прилагать ежедневно, ежечасно, чтобы, как это и не тяжело, не сложно, защищать свои убеждения, свои принципы.

Зима кончилась, но весна не торопилась вступать в город. Несколько недель с моря дул холодный ветер, а с серого, низко нависшего над улицами и домами неба, сыпал мелкий, невидимый глазу дождь. Густая, вязкая грязь с каждым днем поднималась, как тесто на дрожжах. Улицы опустели: не видно стало ни собак, ни кошек, ни вездесущих ребятишек, ни стариков, Много дней уже пустела их лавочка под радиорепродуктором, и казалось, что голосам, вырывавшимся из черной тарелки, было как-то неуютно и одиноко.

Неуютно было и Джамалу. Он мог часами расчесывать мелкой расческой седую бороду, напевая, перебирать четки или аккуратно перелистывать древние книги, но дни становились длиннее, свету прибавлялось, и оставалось много времени, ничем не заполненного. Пойти к старым друзьям, товарищам юности не хотелось.

В один из таких дней к Джамалу явился следователь Кауров.

Джамал не слышал, как следователь вошел во двор, прошел по раскисшей дорожке к веранде и поднялся на ступеньку. Он увидел гостя, когда тот отбивал от ботинок комья грязи.

— Сильно не старайся, подошвы отлетят, — усмехнулся Джамал.

Кауров поднял голову, встретил взгляд хозяина дома и сделал удивленное лицо:

— Вы здесь? Я вас и не заметил. А насчет подошвы вы верно заметили: все худое — ненадежно.

— А как им быть толстыми, подошвам-то?

— Да, как быть толстыми? Время такое...

— Худое, — подсказал Джамал.

— Худое... Что вы меня путаете, — спохватился словно Кауров, — время как раз-таки веселое, бурное. Глядишь, где-то колхозный склад сгорел, кому-то в спину нож всадили, кто-то кирпичом по голове... Вы так ничего и не вспомнили по вашему случаю?

Взгляд его остановился на лице Джамала.

— Как я могу вспомнить сейчас, когда не мог вспомнить сразу после сна... Тот случай я уже почти забыл, да что я говорю, совсем забыл. Что ты стоишь, присядь рядом, на тахту, будь гостем, скоро должна подойти жена, чаем крепким угощу, ты любишь чай? Или вино предпочитаешь? У меня есть хорошее вино, сам вает лучше, вкуснее, крепче. И много надавили?

— Вот это хорошо. Хозяйскую жилку я ценю, Свое всегда вает лучше, вкуснее, крепче. И много надавили?

— Несколько бочонков. Жена подойдет, попробуем по стаканчику из каждого бочонка.

— Ждать времени нет. Дел много. Так вы не вспомнили того, кто вас сзади по голове...

Джамал поймал острый, настороженный взгляд следователя и усмехнулся:

— Если б вспомнил, давно обратился бы, куда следует. Вся беда в том, что я не видел его.

— А может, его и не было? — спросил Кауров.

— Кого его? — не сразу понял Джамал.

— Ударившего. Покушавшегося на вашу жизнь.

— Может и не было. — Протянул Джамал, искоса глянув на Каурова. — А не кажется ли тебе, что то могла быть и рука аллаха.

— Чего — чего? — теперь протянул Кауров.

— Рука аллаха, говорю, — повторил Джамал.

— Да перестаньте вы... голову морочить мне. Я не из тех, кто верит восточным сказочкам. Послушайте, — глаза Каурова ожили, — а может, был приступ. С вами случались приступы?

— Какие еще приступы?

— Ну, сердечные... Вы теряли сознание?

— Никогда, — усмехнулся Джамал.

— Но теперь возраст у вас... можно сказать, преклонный. В каком году вы родились? Да, да вспомнил, тридцать два года жили в старом веке, тридцать один — в нашем живете. Значит, седьмой десяток. Ну, на седьмом десятке можно и сознание потерять. Так вас ударили или вы все-таки потеряли сознание?

— Тебе-то зачем знать это? Я ведь в твою контору не заявлялся, разыокать и наказать моего недруга не просил.

— Ваше право просить или не просить. Наша обязанность, наш долг раскрывать преступление и карать преступника по закону. Так как мы договоримся, или, то есть, решим — вас ударили или у вас случился приступ?

— Считай как хочешь и дай мне отдохнуть, — махнул рукой Джамал, вытягиваясь на тахте.

— Я к вам еще наведаюсь, недели через две-три, к тому времени вы что-то решите... У меня лично создается впечатление, что вы потеряли сознание в результате острого заболевания. Послушайте, а к врачу обращались вы? — оживился Кауров.

— Я тебе уже сказал, дай мне отдохнуть, — повторил Джамал и закрыл глаза.

— Я ухажу, загляну недели через две-три.

Джамал некоторое время ни о чем не думал, просто отдыхал от нудного и утомившего его разговора со следователем. И вдруг шальная мысль тревожно забила у него в голове: а почему он

заговорил со мной о болезни. Приступ острой болезни. Значит, я потерял сознание не от удара, нанесенного сзади, а от страшной боли. А я в своей долгой жизни никогда ничем не болел. Он меня все склоняет к болезни. Да еще как-то промолвил: «как мы договоримся»... Он хочет со мной договориться. Что все это значит, не пойму. Но понять надо.

Джамал открыл глаза и, заложив руки под голову, устался в потолок.

Он хочет, чтобы я упал от приступа, а не от удара. Тогда выходит, что меня никто не ударил из-за спины. Кого выручает такой ход? Следователя, который закрывает дело? Но он на руку тому, кто нанес удар. Тот уходит в тень. Подожди-ка, Джамал, а не уводит ли сам следователь неизвестного в тень... Постой, постой, дай мне сосредоточиться... В ту ночь на улице не было ни единой души, кроме меня и Нахсина. Мог ли удар нанести сторож? Дьявол его знает... Но если вспомнить тот разговор, его намеки и полунамеки... Значит, следователь укрывает сторожа? Э, что-то я хитроумно плету свои рассуждения. Что может связывать Каурова и Нахсина. Нахсина, который в восемнадцатом был на дружеской ноге с турками и белыми... Был на дружеской ноге... А Кауров... Тьфу, у меня уже голова отупела от этих сволочей, засевших в мозгу. Пропади они пропадом...

Джамал встал с тахты, спустился во двор, вошел в сарай, налил в большой серебряный ковш вино из бочонка, выпил до последней капли, крикнул, вытер губы, усы и бороду ладонью, задумался и опять подставил ковш под тугую пахучую красную струю.

32

Не спалось. Было далеко за полночь.

Осман поднялся с постели, взял со стула шелковый халат, накинул на плечи и подошел к окну. По широкому бульвару, щедро освещаемому светом реклам, шли несколько парочек, любители ночных прогулок. Они останавливались у витрин магазинов, что-то бурно обсуждали, заливались смехом, потом крепко обнявшись шли к следующей витрине...

— Смотрю на бульвар, а перед глазами наши магалы, — проговорил Осман. — Темные, тесные магалы. Каменные холодные стены домов. Глухие заборы. Плоские крыши, залитые киром...

Жена заворочалась в постели, тяжело вздохнула и прошептала: — все в воле аллаха.

-- Ватан... Ватан¹, — повторил Осман. — Думал ли я когда-нибудь, что в этом слове может быть заключено столько нежности, тепла, любви. Ватан... Магалы, пыльная дорога, уводящая в инжировые и ореховые сады, теплое и нежное море, караванные пути и тропы в горы, проводники, погоняющие лошадей и ослов, мой сосед Джамал...

— Не верю я, что Керима нет, — подала голос жена. — Никак не могу поверить, сердце не соглашается.. Жив твой сыночек, говорит оно мне, жив и здоров, иначе я не вынесла бы его смерти...

— Джамал человек порядочный, степенный, Керима воспитает он, должно быть, хорошим человеком. Уму непостижимо: как только судьба не распоряжается человеком — семья на чужбине, потеряна навеки, безвозвратно, а сын в чужой среде, хотя и на родной земле...

— Чувствую я: жив мой сыночек...

— А я иначе и не думаю.. Не даст ему погибнуть Джамал...

Послышался грохот, треск. Плотно притворив дверь, Осман вышел на лестницу и столкнулся с Назымом.

— Что случилось? — спросил он, сбегая вниз.

— Не знаю, отец.

В магазине творился хаос. Среди разбросанных тюков тканей, ковров, различного антиквариата по полу катались два человека. Наконец, один взгромоздился на другого, оседлал и принялся наносить удары кулаками, хрипло приговаривая: — Собачий сын. Я давно слежу за тобой. Безродный пес.

Исподнее на лежавшем внизу было изорвано. Из носа текла кровь.

— Прекратите его избивать. Что здесь происходит? — спросил изумленно Осман. Такой картины он не видел за всю свою долгую жизнь.

Работник встал, ноги его дрожали.

— Он... он хотел... убить вас.

Осман удивленно переглянулся к Назымом.

— Убить? Меня? За что? Что я ему плохого сделал?

— Не знаю... — работник прислонился спиной к прилавку, не сводя с лежавшего на полу глаз. — Он поднимался к вам с ножом...

— Это правда? — тихо спросил Осман, подойдя к поверженному.

Тот не шелохнулся.

— Мне кажется, ты убил его, — сказал Осман, взглянув на работника.

¹ Ватан — родина.

— Жив... Такие выживают... Я давно приглядываю за ним.

— Почему же от меня скрывал?

— А о чем говорить? Что ваш верный работник замышляет против вас скверное? Вы бы не поверили. Я у вас тут недавно...

— И то верно.

Осман остановился над поверженным:

— За что ты хотел убить меня, Велли? Слышишь, я с тобой говорю. За что... Неужели зло и ненависть захлестнули тебя, помутили разум, залили глаза.

— Илдириим велел.

— Что ты оказал? — не понял Осман. — При чем тут Илдириим? Что-то ты путаешь...

— Илдириим велел убить вас, — повторил тот.

Осман поднял валявшееся на полу кресло, сел. И почувствовал страшную усталость в теле. Что делать с ним, пронеслось в голове, оставить служить — доверять ему уже нельзя, успокоиться до следующего раза, пока не собьет его с истинного пути Илдириим. Выгнать на улицу — обозлить, озверев, глядишь, и убьет. Выдать полиции — своего сородича, покинувшего родину и мытарствующего на чужбине? Нет, не позволю себе этого. Но как быть, как с ним быть, что-то надо решить.

— А где Аскер? — вдруг охватившись, громко воскликнул он. — Я не видел Аскера. Где Аскер?

Осман вскочил с кресла и с Назымом забегал по магазину.

— Где Аскер? Почему он не отзывается? Где мой старый и добрый Аскер, случилось ли с ним что?

— Отец! — раздался крик Назыма.

Осман замер от этого крика, потом устремился в угол магазина, где понуро стоял сын.

Под тюками материй лежал Аскер с разбитой головой.

Осман опустился перед ним на колени, осторожно провел пальцами по морщинистому лицу старика.

— Мой старый и добрый Аскер... Кто же тебя... Знал ли ты, что умрешь такой смертью, мой старый добрый Аскер. Как долго ты был со мной, делил радость и горе, тоску и печаль по потерянному, ты был единственным, кому я поверял свои страдания, кому раскрывал разрывавшееся сердце, мой старый добрый Аскер. С кем я теперь буду вспоминать годы молодости, кто мне будет напоминать о далекой земле...

По щекам Османа текли скупые слезы.

— Смотри, Назым, смотри и запомни на всю жизнь старого доброго Аскера, Смотри и запоминай... Назым, где ты, я тебя не вижу. Назым, где ты?

— Я звонил в полицию, — откликнулся Назым. — Сейчас подъедут.

— В полицию? Зачем ты это сделал? Ах да, убит старый добрый Аскер. Мой старый добрый, Назым, где ты?

— Я здесь, отец. Вот я, рядом.

— Смотри и запоминай старого доброго Аскера. Его больше не будет с нами. Больше не будет... О мой несчастный сын...

И он приник лицом к коленям сына.

33

Запах жарившегося залама, казалось, парил над всей улицей. Вдыхая его и причмокивая языком, Джамал усмехаясь представлял, как ворчит жена на летней кухне, снуя от одной печи к другой. На большой чугунной сковороде в кипящем масле красноватой коркой покрывалась рыба, а в тону румянились лаваш. И это в такую-то рань, когда и солнце еще не поднялось над морем.

Затемно встал сегодня Джамал, выпил несколько глотков холодной воды, ополоснул лицо и направился на нижний рынок. Здесь шла уже бойкая торговля свежей рыбой. Домой вернулся он скоро, с тремя увесистыми заламами и охапкой свежей зелени. И как не ворчать старой женщине, которой хотелось на заре сладко поспать, а тут из-за прихотей мужа пришлось чистить рыбу, разжечь огонь в печи и другие, замесить тесто, а потом снова от огня к огню, как бы не пережарился залом или лаваш. Как же не ворчать ей...

Джамал усмехнулся в усы от предвкушения вкусного завтрака и в душе попытался пожалеть свою старуху, которая мечется по кухне. Ну что поделаешь с собой, если так сильно захотелось свежего залама, что и сон стал в тягость, заставляя его поминутно переворачиваться с боку на бок, и ночь показалась бесконечной... А старуха, что старуха, ей не привыкать работать у огня. Разве мало возилась она на кухне, когда дома были дети. А теперь целыми днями сидит у ворот и сплетничает с соседками.

На веранду поднялась жена, расстелила сюрре, бросила взгляд на мужа, спросила:

— О ком твои песни?

— О тебе, старуха.

— Какие же в ней слова?

— Жалостливые.

— С каких пор ты меня стал жалеть? — Она улыбнулась и улыбка на какие-то секунды разгладила сморщенное, как печеное яблоко, лицо. — И правильно поступал, что не жалел. Жалость старит душу человека. А может, и не жалостливые слова твоей песни? — Она подняла на мужа глаза.

— Нет, конечно. Разве я позволю, чтобы ты постарела раньше меня? — Джамал тихо засмеялся.

— Эх, Джамал... — вздохнула жена, бросая на поднос вымытую зелень. — Ни годы, ни невзгоды, ни радости не изменили ни твоего характера, ни привычек.

Она спустилась с веранды и скоро вернулась, неся большое блюдо с заломом на одной ладони и лавашами на другой. Потом принесла графин белого вина и два глиняных бокала.

— Это кому, второй — наигранно удивился Джамал. — Тебе, женщине?

— Если ты поешь обо мне песни, почему бы нам вместе не выпить за меня? — устало произнесла жена, опустившись на полас и сложив под себя ноги. — Наливай.

Они еще не успели доесть по куску вкусного залома, который так и таял во рту, когда во дворе послышались шаги и раздался мужской голос:

— Мир твоему дому, Джамал, ты не опишь?

— И твоему, — ответил Джамал. — Заходи, гостем будешь.

На веранду, тяжело и отрывисто дыша, поднялся грузный мужчина.

— Ашур? — удивленно воскликнул Джамал, но тут же погасил возглас и небрежно обратился к жене. — Неси, женушка, третий бокал. А ты садись, Ашур, садись и попробуй заломов, которых я чуть свет поймал.

— На лов ходил? — удивился Ашур, отправляя в рот хрустящую корочку.

— И таких трех красавцев принес, что жалко было бросать на раскаленную сковороду.

— Море нынче богатое. рыбы будет много. Но в твоём возрасте ходить на лов... — Ашур покачал головой.

— Не слушай его, председатель, — вставила жена, возвращаясь с бокалом. — Ты ли не знаешь, что Джамал горазд на шутки.

— А мне показалось, что он всерьез говорит, — сказал Ашур.

— Меня уже и в несерьезные записали, — усмехнулся Джамал. — Разве я тебя обманул, Ашур? Я сказал: «садись и попробуй заломов, которых я чуть свет поймал.» Так ведь оказал?

— Так, кажется.

— Но ты меня не спросил, где я их поймал. А спросил бы, я бы ответил: на нижнем рынке за деньги.

И Джамал довольный тихо засмеялся.

Ашур пригубил, попробовал на вкус терпкость, отпил тлоток, потом выпил весь бокал, до дна, и проговорил:

— Хорошее вино. Если конечно, не шутишь, что твое.

— Я никогда не шучу, Ашур. Я всегда говорю по делу. А теперь выкладывай ты свое дело.

— Это не мое дело. Общественное. Колхозное. В позапрошлую пятницу чья-то подлая рука вырубилa наши виноградники на двух гектарах.

— Знаю, слышал.

— Думали всем правлением, как найти мерзавца. Созвать народ на собрание? Спугнем ведь вражину. И решили: не делать большого шума, забыть, будто бы, о случившемся, но подсторожить... Две недели ночью члены правления как кроты закапывались в землю, выжидали. И вот поймали. Кого бы ты думал?

— Откуда мне знать, если город молчит.

— Самого тихого, смиренного, верующего человека, Гусейна. С серпом в руках. Поймать поймали, а заставить произнести хоть слово не можем. Молчит, насупился, как сыч. Трудно поверить, что этот тихий, смиренный многодетный человек, который батрачил на беков, мог поднять руку на свой же труд. Ведь сколько пота пролили, чтобы вырастить виноградники, и вот тебе — за одну ночь нет двух гектаров... Чует мое сердце: не он, а кто-то другой поднял его руку. Кто-то его напугал и заставил. Вот я и пришел к тебе с просьбой: поговори с Гусейном. Может, он тебе откроется.

— Отпусти Гусейна домой... — произнес Джамал после недолгой паузы.

— Отпустить домой? — не дослушав, прервал Ашур.

— Ты пришел ко мне за помощью, Ашур? Если ты пришел ко мне за помощью, отпусти Гусейна домой и предупреди, что к нему придет Джамал. Никуда он не денется из города.

— Но он может убежать...

— Куда? — усмехнулся Джамал. — От милиции? — Впрочем, его могут убить, подумал уже про себя Джамал. — Так что отпусти его домой.

И вдруг острая мысль, словно вспышка молнии, заставила его вздрогнуть. Неужели он? Нет, это уж слишком... Но почему нет, если он избрал себе путь вражды и ненависти... Он ли? Лоб его покрылся испариной.

— Джамал, тебе плохо? — донесся до него словно издали голос Ашура.

— Нет, ничего, просто сердце сдавило, ничего...

— Тогда я пойду сделаю, как ты велел. Может, врача все-таки вызвать?

Джамал взглянул на Ашура и тихо проговорил:

— В этом деле врач не поможет. Поспеши, чтобы я через час мог навестить Гусейна.

Джамалу хотелось побыть одному, но вернулась жена, подошла, озабоченно посмотрела в глаза:

— Что с сердцем? Ашур говорит, сдавало сердце Джамалу.

— Успокойся, жена, не было у меня никакой боли. Когда-нибудь разве болела эта грудь? — и Джамал постучал костлявым кулаком по груди. — Меня пот прошиб от мысли, что Гусейна толкнул на преступление... догадываешься, кто?

Жена долго глядела мужу в глаза, потом всплеснула руками и села на палас.

— Догадалась?

— Страшно даже подумать — проговорила она, — и после этого ты еще в магал собрался? Никуда не двинешься отсюда, ни на шаг. Ты живым не вернешься оттуда...

— Одумайся, женщина, и успокойся, днем я иду, а днем кто тронет?

Джамал отряхнул шапку, заломил ее тулью, надел аккуратно на голову, опустив на глаза, и, заложив руки за спину и перебирая четки, вышел со двора. На улице он остановился поднял голову, оглядел небо, которое стало нагреваться от горячего солнца, и направился в магал.

Жил Гусейн выше бывшего дома Османа и чуть ниже мечети. На стук Джамала калитка отворилась сразу: будто его ждали.

— Проходи, уважаемый, в дом.

Гусейн, пропустив гостя вперед, сильно со стуком задвинул задвижку.

Джамал быстрым, цепким взглядом окинул небольшой двор, в котором играли дети, и последовал в дом.

— У тебя и виноград растет во дворе? — спросил он, усаживаясь на предложенную подушку.

— Как видишь, уважаемый.

— И тутовое дерево, и абрикос, и черешня, и айва, и гранат, и груша...

— Есть миндаль, инжир.

— Ну ты подумай только. Настоящий сад. Молодец, добрые у тебя руки. А как мы жили двадцать лет назад, уже забываться стала наша батрацкая жизнь.

— Да, уважаемый, как вспомню, голову хочется втянуть в плечи от стыда.

— Ты-то что видел? — усмехнулся Джамал. — Кажется, лет на тридцать моложе? Я перевидал немало человеческого горя и страдания. Жандармы полосовали нагайками. Юсуф-бек обирал и обманывал. А сейчас какая настала жизнь? Как в доброй сказке. И люди стали честнее и добрее. Правда, и прежде встречались хорошие. Ничего плохого не могу сказать о своем соседе Османе. Помнишь жупца Османа?

— Как не помнить? Хорошо помню.

— Богатый был человек, властный, но и добрый, человечный. Сколько раз я сопровождал его караваны в горы. Никогда не

унижал достоинства человека. Только добрым словом могу его вспомнить.

— Что-нибудь слышал, уважаемый, о нем?

— Нет, ничего не слышал.

В комнату вошла жена Гусейна, поздоровалась, поставила большой поднос с чайником, стаканами, блюдами, сахаром и ореховой халвой и бесшумно вышла.

— Но есть и поганые, — продолжал Джамал. — Ты помнишь Илдирима, шурина его?

— Как не помнить?

— Это он напугал Османа новой властью, сорвал его с насиженного места, обманом, страхом сорвал с земли опцов, заставил уехать и где он сейчас мытарствует, да и жив ли, кто знает. Злой человек Илдирим, злой. Да разве нет среди нас подобных Илдириму, которые и сами не любят новую власть, и в души других пытаются влить яд ненависти. Знаю я одного такого. Правоверного из себя кажет, благородного, сердобольного, а сам отговаривал людей вступать в колхоз. Встретился я как-то с ним ночью в магале, разговорился, намекнул, что знаю, мол о его связях в восемнадцатом году с турками и белыми...

— О связях с турками и белыми? — перебил его Гусейн.

— Ну да, намекнул, что если будет пугать людей колхозом, расскажу всем о его прошлом. Знаешь, какой ответ я получил? Слышал, наверное?

— Слышал. В одном городе живем.

— Камнем по голове.

— Что же вы его не выдали властям, уважаемый? — тихо спросил Гусейн.

— За руку не пойман — не вор. Вот тебя схватили за руку — ты преступник, враг, тебя следует судить, а он, направивший тебя на преступление, вложивший в руку серп — в стороне, в тени остался.

Джамал бросил взгляд на Гусейна: тот сидел бледный, низко опустив голову.

— Он прикрываясь именем аллаха послал тебя совершать злое дело. А разве аллах велит нам уничтожать плоды своих рук, хлеб, выращенный потом? Нахсин остался в стороне, в тени, а ты, безобидный и честный человек, вчерашний батрак, стал врагом своей власти, своего народа?

Джамал встал, искоса глянув на Гусейна: бледные щеки его подрагивали.

Спускаясь по крутой каменистой улочке, Джамал постарался вспомнить свой разговор с Гусейном. И вдруг его осенила мысль, от которой стало легко и даже радостно: Нахсин не тронет Гусей-

на, потому что тайна уже известна Джамалу. И тут пришло твердое решение: идти к следователю.

34

— Я приглашаю вас, уважаемый Осман, посидеть в ресторане и обязательно в поднебесье, — сказал весело Серж, игриво опираясь на трость.

Они гуляли по аллеям Тюильри, наслаждаясь теплом солнца.

— Нельзя ли на земле, я люблю чувствовать под ногами твердую почву, друг мой.

— В поднебесье лучше размышлять, воздух чище.

— Тебе лучше знать...

Выйдя из парка, Серж протянул трость навстречу проезжавшему такси. Машина затормозила. Он открыл дверцу, пропустил в салон Османа, затем аккуратно опустился на сиденье и коротко бросил шоферу:

— Монпарнас.

Спустя пятнадцать минут они сидели на открытой площадке ресторана «Монпарнас» на сто четвертом этаже. Расположившись в удобном кресле, Осман испытывал ощущение, которого не знал в своей долгой жизни. Он не видел ни домов, ни деревьев, не слышал городского шума, все картины, силуэты, звуки исчезли. Вокруг и над головой было небо. Куда ни бросишь взгляд — небо. И глухая тишина. Казалось, гондола, оторвавшаяся от воздушного шара, застыла в воздухе и ждет мгновения, чтобы рухнуть.

— Вижу, вам нравится здесь, уважаемый Осман, — голос Сержа заставил его оторваться от мыслей.

— Что тебе ответить, друг мой Серж, если ты мне преподаешь урок о том, как слаб человек и деяния его перед природой.

— Преклоняюсь перед вашей мудростью, уважаемый Осман, но не надо так далеко уходить в своих суждениях. Я хотел на правах друга просто подсказать: мы как песчинки в океане и каждый день наш красив и шаток... И прошу вас, не называйте меня Сержем, для вас я — Сеттерхан. Когда слышу из ваших уст «Серж», меня словно режут тупой ножовкой.

На лице Османа заискрилась улыбка, но тут же погасла.

Подошел официант, наклонился к Сержу.

— Послушай, друг мой Сеттерхан, я бы хотел заказать рыбу.

— Есть устрицы, мсье, осьминоги, кальмары, омары, — тут же откликнулся официант, обернувшись к Осману.

— Нет, не осьминоги и омары, а рыбу, сельдь, свежую сельдь, ее у нас называют залом.

— Свежую сельдь, мсье? Такой рыбы у нас нет...

— Позвони в рестораны, Шарль, может быть у «Максима», в

крайнем случае в магазине раздобудь, одним словом, где хочешь, а сельдь пожарь нам обоим.

— Ты часто бываешь здесь, Сеттерхан?

— Люблю деловые встречи назначать здесь. Никто не подслушает.

— Нашу встречу тоже надо считать деловой?

— Нет, уважаемый Осман. — Серж засмеялся. — Чисто дружеской. Я хочу просто посидеть с вами и просто кое-что сообщить. Я делец, бизнесмен, вращаюсь в обществе бизнесменов, биржевых чиновников и маклеров, знаю конъюнктуру сегодняшнего и предугадываю конъюнктуру завтрашнего дня. Деловые люди вкладывают свои деньги сегодня в военную промышленность. Это принесет огромный доход.

— Неужели мир готовился к новой войне?

— В Италии фашизм. Нацисты пришли к власти в Германии. Это вам ни о чем не говорит? Германия всегда была врагом номер один для Франции.

— В мире опять неспокойно, — задумчиво проговорил Осман. — И куда же нас унесет очередная буря...

— Какая буря, уважаемый Осман? — не понял Серж.

— Поднявшаяся в восемнадцатом буря оторвала меня от родины и понесла как перекасти-поле по разным землям, пока я не зацепился здесь. Куда теперь понесет безумный ветер меня.

— Не омрачайте себе день, уважаемый Осман, до бури еще ох как далеко, да и будет ли она? Это еще вопрос.

— Я видел алчность многих, — продолжал Осман. — И белогвардейцев, и турков, и разных партий. И все требовали денег, денег, денег. Все беды человека от денег.

— От жажды господства и властолюбия.

— Но жажда господства и властолюбия возникает, чтобы овладеть богатством, деньгами. Сознанием правят деньги.

Осман замолчал. Серж, удобно вытянувшись в кресле, смотрел в небо.

— Я хотел дать вам еще один совет, — промолвил он, — если вы примете его. А принять его следует.

— Говори, Сеттерхан, слушаю тебя.

— Будьте обходительны с комиссаром полиции, мэром города, директором банка, дельцами — вашими соседями, оказывайте им внимание. Вы меня понимаете?

— Кажется.

Серж засмеялся.

— Одаривайте их время от времени подарками. Приглашайте на обед, ужин. Одним словом, подкупайте их. Этим акулам ничего не стоит съесть мелкую рыбу, тем более приплывшую из другого моря.

— Спасибо, Сеттерхан, к этому совету я прислушаюсь.

К столику устремился официант, быстро и ловко выложил хрустящие ломтики батона, салаты нескольких видов, черную и красную икру, вино и две небольшие сковородки, которые распространяли аппетитный запах жареной сельди.

— Как долго я не ел залама! — проговорил Осман, снимая с рыбы хрустящую корочку и, обжигая пальцы, отправляя ее в рот. — Какое объедение. Ты что так удивленно смотришь на меня, Сеттерхан, а, понимаю, я ем пальцами, а не вилкой! Плюнь на этикет, друг мой, рыба вкусна, когда ее едят руками, когда обсываешь каждый палец. Послушайся меня, я в этом понимаю толк.

— Будь по-вашему, — сдался Серж.

— И наполни бокалы. Правда, это не наше вино, но все-таки из винограда.

Небо начинало остывать, когда Осман и Серж спустились на улицу. В окнах отеля «Монпарнас» ослепительно пылал багровый закат.

— Ты не возражаешь, друг мой, если я сейчас направляюсь на Монмартр? — обратился Осман к Сержу. Тот удивленно глянул на Османа, коротко засмеялся:

— Неужели, простите меня, уважаемый Осман, неужели вам захотелось посмотреть на девочек...

— В мои-то годы на них смотреть, — тоже засмеялся Осман. — А впрочем, любоваться может и дряхлый старец. Я часто гуляю по Монмартру. Его узкие каменистые улочки, невысокие каменные дома мне напоминают магалы моего города.

— Пойдемте, уважаемый Осман, пройдуь и я с вами.

Серж позвал такси и они сели в машину.

35

Тот день не изгладится из моей памяти никогда. Уже потом, после инцидента, ты все отшучивался, отмахивался, не принимая всерьез того, с чем мы столкнулись. Может, для тебя то было обыденным явлением но ведь имя ему было фашизм. Я отказывался понимать, как можно снисходительно относиться к фашизму, не принимать его всерьез?

— Когда засыпает разум, просыпается чудовище — говорили древние греки. Эти мудрые слова должны быть выбиты на стенах домов, над входом в церкви, соборы и костелы, над подъездами государственных учреждений и военных министерств и ведомств, на стенах аудиторий университетов... Когда засыпает разум, просыпается чудовище. Чудовище, которое ввергло в катастрофу пол-

мира, уничтожив в пожарах, испепелив в газовых печах, изрешетив пулями пятьдесят миллионов человеческих жизней.

Тот день не изгладится из моей памяти...

Я с друзьями сидел в тенистом сквере, что примыкал к собору Парижской богородицы. На свежескошенной траве газонов безмятежно играли маленькие дети. Мамы и бабушки, подставив лицо, плечи, руки солнцу, были поглощены вязаньем. Эта осенняя идиллия начинала умилять нас и чтобы не расчувствоваться и не предаться слезливой сентиментальности, мы не сговариваясь встали, словно движимые одним чувством, и направились в собор.

Он был набит до отказа. Под тяжелыми холодными сводами стонали фуги Иоганна Себастьяна Баха. Орган то выплескивал из себя чарующие звуки, то выталкивал неистовые, бешенные удары, то выжимал из себя тихие жалобы. Мы были поражены игрой органиста. Какую же душу, какое сердце надо было иметь ему, чтобы вобрать и скорбь, и жалость, и гнев, и радость человечества, вобрать, пережить и передать нам. Какая титаническая сила заставила его выстрадаться, выразиться в музыке, чтобы разбудить в нашей памяти боль и гнев, разогнать в наших венах кровь...

Мы стояли и слушали, замороженные неистовой игрой и силой чувств музыканта. Стояли и слушали и тогда, когда умолк орган, потому что звуки долго плыли под сумрачными сводами собора, блуждая и не зная, как вырваться на волю. Или, может, не хотели нас покидать?

Мы вышли из собора Парижской богородицы и пошли по улице, находясь еще в плену у музыки Баха. И вдруг пронзительный свист и улюлюканье заставили нас вздрогнуть и очнуться. Я увидел перед собой ехидные, злобные, оскалившиеся лица, угрожающе поднятые кулаки, цепи, прутья. Перевел взгляд на своих друзей, опять на разинутые пасти и гнилые зубы... и все понял. Мы были оцеплены фашиствующими молодчиками. Они юродствовали как только могли: улюлюкали, орали, выкрикивали непристойные слова, звенели цепями, хохотали нам в лицо и ждали, выжидали момента, когда начать действовать. Я стал искать глазами блюстителей порядка и, наконец, увидел их метрах в пятнадцати, у биспоро, спокойно взирающих на бесчинствующих молодчиков. Надо было принимать какое-то решение. Я вытащил из кармана паспорт и высоко поднял над головой.

Моску... Моску...

Мои слова вызвали неистовый свист и пвалт у фашистов. Но вот, наконец, один из полицейских приблизился к фашистским молодчикам и стал разгонять их. Чей-то прут прошелся по его спине. Он резко крикнул и вместе с подоспевшими к нему другими полицейскими принялся обрушивать дубинками удары на го-

ловы, плечи, спины молодчиков. Отнесенные к стене, мы ждали исхода поединка, но вдруг рядом вздвинул тормозами «Ситроен», ты выскочил из машины, втолкнул насильно нас в нее и вывез из «опасной зоны».

Как ты узнал, что мы у собора Парижской богородицы попали в беду? Под впечатлением пережитого я забыл спросить тебя в тот день, в сумятице дел забыл и на следующий. Так и не выяснив, уехал домой.

Много месяцев прошло с того памятного дня, наполненного музыкой неистового органиста и оргиями озверевших фашиствующих молодчиков. Но время от времени меня вновь мучает вопрос: как ты узнал, что мы у собора Парижской богородицы попали в беду, Осман? Не связан ли и ты ненароком с ними, считая их оргии шалостями переходного возраста? Или отправился искать нас, не застав в отеле? Но Париж огромен, а пути наши сошлись...

Так или иначе вопрос остается открытым.

Шалости переходного возраста... Именно так ты назвал их действия, увозя нас от злополучного места. Шалости ли? А впрочем, так считали, очевидно, и блюстители порядка, спокойно взиравшие на оргии фашистов, и прохожие, выстроившиеся вдоль протуаров, и посетители бистро... Считали, ибо они позволили своему разуму уснуть.

Страшно, Осман, и опасно, когда засыпает разум.

36

Приезд на каникулы Симона и Керима доставил Джамалу не только радость, которую он скрывал, но и множество хлопот. Сыновей предстояло женить. Обоих в один день, чтобы не готовить два свадебных стола: Джамал не мог позволить себе такой роскоши — не было у него ни денег, ни продуктов. Муку, мясо, рис, горох, рыбу, кишмиш, фрукты — все принесли родственники и друзья. И если жена, бросая косые взгляды на Джамала, ворчала: срам-то какой, по всему городу люди будут шушукаться, что Джамал не нажил добра даже на случай женитьбы детей, он усмехался в усы и наставительно говорил: — Для себя же и принесли, есть и пить будут они, а женить сыновей я мог и без застолья, повел бы в загс, а оттуда — в дом.

— От тебя и этого можно было ожидать, — отвечала жена.

— А разве в том есть что-то предосудительное, женщина?

— Будь по-твоему, старик, не будем портить себе настроение в такие счастливые дни.

Накануне свадьбы Джамал принес домой аккуратно сложенный сверток и еще со двора подал голос:

— Жена, где мои сыновья ходят?

— В комнате с друзьями, где они еще могут быть, — ответила та из летней кухни.

Джамал поднялся на веранду, положил сверток на тахту:

— Симон, Керим...

— Мы здесь, отец.

Красивые, возмужавшие, крепкие, они стояли рядом так непохожие лицом друг на друга и такие родные ему. Он указал рукой на сверток.

— Разверните.

Симон бережно развернул сверток. В нем лежали аккуратно сложенные два черных костюма, белые рубашки, галстуки и полуботинки.

— Кому это, отец?

— Вам, кому же еще! Поедете со своими невестами в загс, зарегистрируетесь, сфотографируетесь на память для отца с матерью, поедете на красивой легковой машине, начальник пожарной дружины мне обещал ее. Затем сложите аккуратно костюмы. На свадьбе можно сидеть и без них. Джамал и его сыновья к костюмам не привычны. Мать купила вам по новой сорочке.

— О чем ты говоришь старик, — возмутилась жена, подслушивавшая их разговор, — или ты совсем рехнулся под тяжестью лет своих... Какие уважающие себя родители пошлют своих дочерей в загс прежде, чем заиграет свадебная музыка? Ты что, забыл веками сложившийся обычай? Сначала свадьба, а потом выдумывай, что хочешь.

Джамал усмехнулся, подмигнул сыновьям и наигранно тяжело вздохнул:

— Я твоим будущим родственникам уже заявил: днем пойдут в загс, как того требует наша власть, а вечером сыграем свадьбу, как того требуют наши обычаи.

— И они согласились?! — изумленно спросила жена.

— Кроме тебя все со мной соглашаются.

Утром следующего дня дом Джамала напоминал муравейник: люди сновали по двору, женщины мыли зелень и фрукты, рис и горох для плова и ягни, рыбу и мясо, месили тесто для лавашей, мужчины несли от соседей столы, скамьи, стулья, доски; дети галдели, кричали, путались под ногами.

— Никогда не думал, что у меня столько родственников наберется, — твердил Джамал, прохаживаясь по двору. — Ну ты только посмотри, что делается... Воскресный базар... Да где же эта чертова машина, наконец, не подвела бы молодых. А почето какой, дети Джамала на автомобиле едут в загс. — Он подкрутил усы, провел ладонью по бородке довольный. — Что будет го-

ворить город, а? Дети Джамала в загс ехали на автомобиле. А его все нет, тыфу ты, чертов шофер.

На улице захрипел простуженным голосом клаксон. Джамал встрепенулся:

— А вот и он. Не подвел. Симон, Керим, где вы там, выходите...

Симон и Керим, наряженные и сияющие, спустились во двор в сопровождении друзей.

— Садитесь в автомобиль, быстро, не то этот чертов шофер в кожаном шлеме и очках на лбу, напоминающий мне жабу, удерет от нас.

Взревел мотор, снова простуженно заголосил клаксон, и красная машина рванула с места.

— Не забудьте за невестами заехать, — крикнул вдогонку Джамал. — И сфотографироваться.

Спустя час клаксон возвестил о приезде женихов.

— Где же ваши законные жены? — удивленно произнес Джамал.

— Отвезли по домам.

— Дурни, а не абреки. Не могли умыкнуть.

После обеда за воротами послышалась музыка и во двор вошли Гюршюм, Вартан и Сеттер; они играли на таре, кеманче и бубне свадебную мелодию.

— Давно жду вас, давно жду, — ласково встретил друзей Джамал. — Стучаем, не запылились?

— Запылиться не запылились, мы не за арбой шли, а вот в горле пересохло, — за всех ответил Гюршюм.

— Горло — что? Горло — ерунда. Размочим его стаканом доброго вина и споем свою любимую песню юности...

Джамал вдруг хлопнул себя по лбу ладонью:

— Что же это я. Ай-ай-ай, чуть не подвел ребят... Забыл о музыкантах. Видать, права моя старуха, говоря, что с годами теряется остроумия ума... Ай-ай-ай.

— А мы разве не музыканты? — обиделся Сеттер.

— Кто посмел сказать, что вы не музыканты? — удивился Джамал. — Все эти гармонисты и барабанщики ногтя вашего не стоят.

— Так в чем же дело? Что тебя удручает?

— Мне нужны еще музыканты. Симон и Керим пойдут за невестами одновременно. Понял теперь? Эй, Гаврил, где ты шляешься? — закричал Джамал.

— Здесь я, отец. И нигде не шляюсь, а помогаю накрывать столы.

— Ты знаешь Рустама? Ну того, что живет над верхним базаром? Бригадира колхоза?

— Ну, знаю...

— Он и его сыновья хорошие музыканты. Беги к нему и передай, что Джамал срочно ждет их.

В конце дня, когда лиловые облака, обрамлявшие края синего неба, посерели и на улицы мягко и незаметно опустились сумерки, из двора Джамала вышли две большие группы празднично разодетых людей. Впереди шествовали музыканты. За ними шли женщины с табагом¹ на голове, их замыкала молодежь с горящими факелами.

Группа, в которой шел Симон, остановилась у дома Азизова. Женщины с табагом подошли к воротам и дробно застучали кулаками.

— Откройте тяжелые засовы и выдайте нам вашу пери.²

— Кто вы такие? — послышалось из-за ворот.

— Ваша новая родня.

— Зачем вам понадобилась наша пери?

— Мы берем ее в дочери и в знак любви одариваем подарками.

Ворота широко распахнулись и шествие с музыкой и веселыми возгласами, освещаемое факелами, ступило во двор. Поднявшись на веранду, женщины одна за другой опустили табаг. Хозяйка дома пригоршнями стала бросать сладости в толпу, потом всплакнула, вытерла слезу кончиком платка.

— Дорогие гости, садитесь за стол, угощайтесь, пока невеста соберется в путь.

Азизов первым сел за стол, налил в стакан красного вина, крякнул, тихо промолвил:

— Грустно отдавать дочь в другую семью. Нянчил, кормил, одевал, лелеял... И вот уходит навсегда из своего дома... Грустно...

— Уходит, чтобы построить свой дом, — послышался голос из-за стола. — Природа так повелевает: каждой птице — свое гнездо нужно.

— Это ясно, — сказал Азизов, — и все-таки грустно.

Внезапно, словно спохватившись, заиграли музыканты. Во двор, в сопровождении подруг, вышла невеста, накрытая шелковым платком, встала рядом с Симоном, их окружили факельщики и шествие под свадебный танец двинулось в обратный путь.

У ворот их поджидал Джамал. Он подошел к Гюршюму и проговорил на ухо:

¹ Табаг — большие плоские подносы со сладостями и свадебными подарками для невесты.

² Пери — красавица.

— Задержи их здесь недолго, вот-вот подойдет Керим с невестой, пусть вместе войдут в дом.

Но ждать не пришлось. Из-за поворота появилось шествие.

Искрометная, волнующая кровь и зовущая в круг музыка, восторженные, радостные крики обрушились на свадебные столы. Приглашенные встали, приветствуя новобрачных.

Молодожены прошли в дом. Здесь их ждал виночерпий. Поздравив молодых с браком, он преподнес каждому стакан с красным вином. Молодожены переглянулись, улыбнулись друг другу, выпили вино и бросили с силой стаканы. Они разбились со звоном.

— Молодцы, дети мои, — воскликнул виночерпий. — Ваша жизнь будет светла и радостна, и не омрачат ее никакие беды. А теперь займите свои места за столом.

Свадьба была в полном разгаре. Одни блюда сменялись другими, музыканты, а их было добрых шесть искусных музыкантов, невольно заставляли своей игрой выходить в круг каждого из сидящих за столом, станцевать с невестами, Сеттер радовал души песнями, и веселью, казалось, не будет конца.

Джамал и Петр вышли на улицу, сели на лавочку и прислонились спиной к стене.

— Веселый пир закатил ты сыновьям, Джамал, — произнес Петр.

— Не я, ты, — ответил Джамал.

— Как это я? — удивился Петр. — Свадьба-то в твоём доме?

— А с костюмами кто помог? Не будь костюмов — не смогли бы щегольнуть мои сыновья. Да еще на красной машине. — Джамал тихо засмеялся. — Спасибо родственникам, это они собрали такой вкусный обильный стол. У меня, друг, как ничего не было, так ничего и нет.

— Вот ты о чем! — протянул Петр и замолчал. — А сторож исчез, — произнес он, нарушив долгое молчание.

— Сторож исчез? — переспросил непонимающе Джамал. — Какой еще сторож?

— Нахсин.

— Нахсин исчез! — поразился Джамал. — Вот так новость.

— Не пойму, кто мог его предупредить. Долго ломаю голову и никак не могу найти ответа. Вспутнули? Предупредили? Перебрали всех: и председателя колхоза, и членов правления, не могут они предупредить. Все бывшие батраки, ничто не связывает их со сторожем...

— Нахсин исчез, — повторил Джамал, пытаясь понять, осмыслить случившееся. — Не может быть... Ведь я к следователю ходил. А он исчез...

— К какому следователю?

— К тому самому... Который приходил ко мне.

— К тому самому... — повторил Петр и замолчал. — Признаюсь тебе, Джамал, не нравится он мне. Ничего он мне плохого не сделал, и я против ничего не имею, но не нравится — и точка. Не по душе. Надо разузнать, расспросить людей, откуда он родом, — задумчиво проговорил Петр.

— Зачем спрашивать людей, — сказал обиженно Джамал. — Кто лучше меня знает Дербент? Или ты мне уже не веришь? Он появился здесь... сейчас я тебе точно скажу, да, в восемнадцать лет. Джамалу ты всегда верил, друг, и сейчас можешь поверить.

Петр задумался, потом тихо проговорил:

— В таком случае надо сообщить в НКВД.

Два старых друга сидели задумчивые, а над двором, над улицей, над всем городом играла щемящая душу и бодрящая кровь свадебная музыка.

37

Осман проснулся глубокой ночью, разбуженный собственным криком. Он откинул одеяло, сел в постели, сложив под себя ноги, осторожно глянул в сторону жены, успокоился: она спала. Поеживаясь от холодного пота, Осман задумался над причиной своего крика, но так и не определив ее, поднялся с кровати и подошел к окну. Улица была безлюдна. Неяркий свет, выливавшийся из витрин магазинов, ложился пятном на темный асфальт бульвара. Осман глянул вверх крыш; в небе еле светились редкие звезды. Внезапно в темном стекле окна появилось изображение мальчишеского лица. Оно наплывало откуда-то из глубины, из непонятной черноты и, увеличиваясь, все приближалось к Осману. И когда Осман, широко открыв глаза, узнал его и захлебнулся от неожиданности и захватившей его оторопи, лицо исчезло.

— Эзизим¹, — простонал Осман с болью в голосе. — Эзизим. Сколько же лет я не видел тебя? Почему ты сейчас привиделся мне... Да ведь и во сне ты посетил меня, именно ты, и так неожиданно, что я забился в крике... Ты так напугал меня... Эзизим, какой ты милый мальчишка, около двадцати лет прошло, а в моей памяти ты сохранился мальчишкой. Сейчас ты был бы уже мужчиной, помощником отцу, имел бы семью, ну конечно имел бы, в таком возрасте все уже женятся. Но почему был бы? Я поручил тебя моему соседу Джамалу, он должен воспитать тебя настоящим человеком. Должен, я ему верю... Но погоди-ка, что тут врал Илдирым... Что тебя нет в живых? Если это сказал Илдирым, значит ему не стоит верить. Он ни разу в жизни не сказал правду. А может это было единственное правдивое слово, произнесенное

¹ Эзизим — дорогой мой.

его устами? О Всевышний, не знаю даже, как и думать. Как думать... Но мать не верит в то, что тебя нет. Сердце матери живет тобой. Ему можно верить... Почти двадцать лет не видеть родное дитя и разговаривать с ним, лелеять его каждый день, каждый час... Какой неистребимой любовью должно жить сердце твоей матери, какой силой должно обладать ее хрупкое тело... Неужели ты жив, эзизим? Или нет тебя живых? У кого узнать, где найти мне вестника добра или зла... И почему ты приснился мне? Случилось ли что с тобой? Горе ли постигло ил и охвачен радостью, которой ты решил поделиться со мной... Как мне узнать, что с тобой приключилось, почему ты устремился ко мне сквозь непроглядную тьму... У кого мне узнать... Эзизим... мозг мой тупеет, он бессилён ответить на мои вопросы, он не слушается меня, не подчиняется... Мозг мой тупеет, я больше не могу...

Из тьмы к нему вновь рванулось в каком-то неистовстве знакомое до боли мальчишеское лицо, вспыхнуло ярким светом и померкло.

Осман сполз на толстый ворсистый ковер, опрокинулся навзничь, потерял сознание.

38

Недолго гостили Симон и Керим у родителей: в Москве ждала их преддипломная работа. Отпугав свадьбу, починив крышу дома и глиняные полы, побелив комнаты и покрасив двери и оконные рамы, они провели две недели в садах, что раскинулись за северными городскими воротами. Получив разрешение в исполкоме не без помощи Петра, соорудили шалаш и поселились в нем с женами. С утренней зари до заката солнца молодые отдыхали на свежем воздухе, лакомясь фруктами и только на ночь приподили домой. В субботние вечера Джамала невеличали старые друзья Гюршюм, Вартан и Сетгер, и расположившись за широкой скатертью, молодые слушали игру музыкантов. В эти вечера, казалось, не бывало конца песням, шуткам, воспоминаниям, веселым притчам, восточным сказкам.

Наконец, подошел день отъезда. Симон и Керим уложили вещи жен в большие фанерные чемоданы, попрощались с матерью, которая отказалась идти их провожать, подхватили под руки своих подруг и отправились на вокзал. Джамал с Гаврилом последовали за ними.

На вокзале молодоженов ждали друзья. У их ног громоздились четыре ящика с фруктами.

— Куда все это? — возмущился Симон. — Мы с Керимом не амбалы таскать такую тяжесть на спине.

— Посмотрите-ка на них, — удивились ребята. — Им на дорогу

такое богатство даешь, а они еще ломаются. И причем тут амбалы? Мы занесем их в вагон, а в Мескье, не будь жадным, заплати насильщику, он и вынесет.

По перрону сновали сотни людей. Джамал провожал их взглядом, кого-то узнавал сразу, кого-то припоминал, а некоторых пытался — и не мог. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо, Джамал напряг зрение взгляделся и промолвил про себя: — не может быть, не он. Но как же не он, если вот он, передо мной, с чемоданом в руке. Неужели уезжает? Куда? Уезжает или удирает?.. Что же делать, что... Петра позвать? Но до него разве мне добежать, а времени осталось совсем мало. Уедет поезд.

Мысли путались в голове Джамала. Наконец, он тихо обратился к Гаврилу:

— Сынок, беги в исполком, нет, беги в депо, к начальнику, пусть звонит в исполком Петру, пусть скажет — здесь следователь Кауров, он уезжает. Ты понял меня?

Гаврил исчез в толпе.

Джамал потерял следователя из виду, заметался взглядом по лицам, спинам, чемоданам людей, наконец, нашел и облегченно вздохнул. Но вот уже и паровоз протяжно загудел, подали поезд, но ни Гаврила, ни Петра не было. Наконец Гаврил появился.

— Сынок, где Петр? Начальник успел ему позвонить?

— Дядю Петра забрали в НКВД.

— Что ты сказал?

— Дядю Петра забрали в НКВД.

Джамал остолбенел. Он не мог выговорить ни слова. Тем времени объявили посадку, Симон и Керим обняли отца, пожали ему руку, не замечая его состояния, подхватили жен и пошли к своим вагонам. Ребята понесли за ними чемоданы и ящики.

Джамал тупо смотрел на происходящее вокруг и монотонно повторял:

— Петра — в НКВД? За что в НКВД?

Он никак не мог представить, даже предположить, что Петра могут забрать в НКВД.

И снова повторял:

— За что в НКВД?

Загудел паровоз, вагоны дрогнули, медленно пошли мимо... В окне показались Симон и Керим.

— До свидания, отец, до свидания, Гаврил...

Джамал машинально поднял руку, махнул в их сторону, увидел в окне следующего вагона следователя Каурова но отнесся к нему уже как-то безразлично, безучастно, потому что все его существо донимал один, монотонно повторявшийся вопрос:

— Петра — в НКВД... За что?

Придя домой и войдя в комнату, Джамал сел за стол, снял

шапку, положил рядом и спокойным голосом велел Гаврилу:

— Принеси тетрадь и ручку.

— Что ты собираешься делать, отец? — спросил сын, исполнив его просьбу.

Джамал раскрыл тетрадь, опустил перо в чернильницу и глядя, как с него сорвалась фиолетовая капля, сказал:

— Я собираюсь писать в НКВД. Писать обо всем, что знаю.

О Петре, стороже Нахсине, о следователе Каурове, о себе.

Спустя несколько дней Гаврил веселый вбежал на веранду.

— Отец, ты спишь?

— Лежу на своей тахте, жду, когда обо мне вспомнят, вызовут.

— Дядя Петр дома.

Джамал сел, потом уперся взглядов в глаза сына:

— Не шалишь?

— Нет, отец, разве такими вещами шалят?

— И то верно.

Джамал не спеша, аккуратно надел на голову шапку, засунул ноги в чупяки и пошел чуть осуляясь, заложив руки за спину и перебирая четки. В доме Петра было тихо. Джамал пересек небольшой дворик, вошел в комнату. Петр лежал на диване. Джамал сел на венский стул, откинулся на спинку, вытянул длинные ноги, устало положил руки с четками на колени.

— Как дела, Петр?

— Как видишь, жив, здоров.

— Это хорошо, что жив. А Кауров удрал.

— Как удрал? — Петр задвигался, пытаясь сесть.

— Лежи. Сел в поезд и уехал. Я ждал тебя на станции, а тебя забрали в НКВД. А Кауров спокойно уехал.

— Ничего, друг. Зато двумя врагами в нашем городе стало меньше.

— Верно ты говоришь, но где-то у кого-то на два врага стало больше. Кто тот собачий сын, который составил на тебя наговор?

— Кто похитрей. Кто сумел опередить...

— А там не сказали? Там, где ты был?..

Петр горько усмехнулся.

— Как мы с тобой постарели, Джамал. А ты помнишь наши молодые годы, на рыбных промыслах...

И Джамал с Петром пустились в воспоминания не столь далекого прошлого.

39

— Ты что —нибудь помнишь о своем городе детства? — спросил Осман, уютно расположившись в неизменном кресле. Не видимый никому из посетителей магазина, он тем временем внима-

тельными, оценивающим взглядом окидывал каждого входящего, наблюдал, как обслуживал его Назым, и когда оставался доволен его работой — ведь от внимательного, более того бережного обращения с посетителями, росла клиентура и доход — на губы Османа ложилась довольная улыбка, и он гордо произносил:

— Машалла, Назым, машалла.

Зеркало после той страшной потасовки было заказано новое, и, к удовольствию Османа, оказалось и объемнее, и чище, и изящнее, в стиле Людовика Тринадцатого.

— Как не помнить, отец. Я был уже не маленький. Сколько же мне было? Семь, восемь?

— Около этого. Сам запомнювал.

— Помню дом наш, сад, и сейчас перед глазами беседка, увитая виноградником...

Назым успевал обслуживать покупателя и перекинуться словечком с отцом.

— Помню детей нашего соседа, ну того, что жил через площадь... Джамала, кажется...

— Джамала.

— Сколько мы дрались с ними, получали тумачков. Смешно вспоминать.

— И кто же одерживал верх? — Осман улыбнулся, ожидая хвастливого ответа.

— У них был крепче и здоровее старший, — произнес Назым. — Как же его звали. на с начиналось имя.

— Симон, если мне не изменяет память.

— Симон... Он был, знаешь, отец, яростный боец. Как зверек дрался, ничего и никого не страшился. И понятно, почему: вырос на узких улочках, в грязи, холоде, бедности. Потому и был бесстрашным.

Какие они сейчас там, подумал про себя Осман, пытаюсь напрядь воображение, видать уже крепкие мужчины, если, не дай всевышний, ничего за эти годы не случилось, а Джамал уже одряхлел, ведь он старше меня... Какие они сейчас там?.. Но в памяти всплыла пыльная площадь, два разутых сорванца с синяками под глазами и Джамал в истоптанных чарыках, крепкий, непокорный, хитро улыбающийся зеленоватыми глазами, в неизменной каракулевой шапке, сдвинутой на глаза. И Керим... явился и исчез.

— Мой мальчик, — прошептал Осман. — Таким я его и помню. Таким он остался в моей памяти, и никак не хочет вырасти в зрелого мужчину.

В магазин вошли, громко и весело переговариваясь и безмятежно смеясь, несколько мужчин и женщин. Осман прислушался внимательней: они говорили по-русски.

Осман поднялся с кресла и подошел к посетителям.

— Вы русские — спросил он, растягивая слова: ведь как давно он не произносил русских слов.

Посетители удивленно взглянули на него и снисходительно улыгнулись:

— Конечно, мы русские.

— Откуда... же... приехали... в Париж...

Назым остолбенело глядел на отца, говорившего на русском языке.

Ясно откуда, из России.

— Из... какого... города?..

— Из разных. Есть из Москвы, из Киева, из Ленинграда. А вас какой город интересует? И, пожалуйста, откуда вы знаете наш язык?

— Я жил... на Кавказе... Есть... такой... город... Дербент... — Не могу же я им сказать, подумал про себя Осман, что удрал от революции. — Уехал... еще... до революции...

— Знаем мы Дербент. У нас Крымов, писатель такой, даже роман свой назвал «Танкер Дербент». Так и называется. Дербент теперь известен каждому.

— А как... у вас... сейчас... там... жизнь. Есть... богатые... бедные, разутые...

— Нет, ни богатых, ни бедных, все у нас живут хорошо. Вот видите, в чем мы ходим?

На них были ладно сшитые серые костюмы, кипельно белые сорочки, лепкие туфли.

— Вы свой Дербент сейчас не узнаете. Приходите на выставку, там и посмотрите, как изменилась наша жизнь.

— На... какую... выставку?

— А вы разве не знаете? В Париже открывается Всемирная выставка. Россия построила свой павильон. Мы и приехали на выставку, представлять свою страну.

— Я... и не слышал... о выставке... — проговорил Осман и вдруг прямо обратился к Назыму: — Сын, одари их всех подарками. — Выбирайте... себе... что хотите... подарок от... меня с сыном... Не смотрите... на меня... пугливо... Без денег... Как сувенир... Пожалуйста... я вас... прошу... Не обижайте... старого... человека...

— Ну, если уважить, то можно. Только, пожалуйста, не дорогие. Ну куда столько, молодой человек, вы же в трубу вылетите.

Осман весело рассмеялся.

— У нас... трубы... нет. Нам это... не... страшно.

Наконец, каждому был вручен короб с сувенирами.

— Приходите на выставку. Мы вас будем ждать в нашем павильоне.

— Обязательно... придем, — заверил Осман, — обязательно. Для меня это... дороже... оставшихся лет...
Когда русские ушли, Осман обернулся к Назыму проветленный и счастливый:

— Ты слышал, сын? Завтра идем на выставку, Всемирную выставку, в Советский павильон. Я, ты, мать, скажи работникам, кто хочет пусть пойдет с нами. Ты видел, как они одеты, веселы, жизнерадостны. И не к чему спрашивать об их благополучии, работе, когда они так искренни, и глаза их светятся счастьем. Неужели это им дала революция, от которой мы убежали? Завтра мы пойдем в советский павильон. Может, он нам расскажет, сын, о чем умалчивают наши газеты. Что только не писал о советских людях: и рога им приделывали, и в медвежьи шкуры одели, а они вот, перед тобой, на двух ногах и с ясным взглядом. Не надо обладать мудростью, чтобы понять, как они счастливы, сын. Завтра мы многое увидим своими глазами.

40

Поездка на солнечный юг Франции в многомиллионный портовый город была богата многими встречами. И с членами Марсельского отделения Франко-советского общества дружбы за хорошо сервированным столом. И с мэром города в муниципалитете. И с коллегами на студии телевидения, перед циклопическими глазами телекамер. Но самой впечатляющей, незабываемой для меня была встреча с Николаем Николаевичем. Так он назвал себя.

Не знаю, поймешь ли ты когда-нибудь, познаешь ли разумом и сердцем чувство родины, испытаешь ли шемящую до умопомрачения настальгию... Испытаешь ли, Осман? Не знаю, не ведаю. Но Николай Николаевич познал, мне так показалось, ты бы прислушался к его последним словам, пригляделся к глазам, вникнул бы в просьбу...

Николай Николаевич, так он назвал себя.

Я разглядывал залитый жарким солнцем огромный порт, по которому скользили белоснежные теплоходы, фрегаты, бриги, акулообразные военные суда и подводные лодки, когда кто-то тихо произнес:

— Красиво, не правда ли?

На чистом русоком языке.

Я медленно повернул голову. Рядом стоял коренастый, плотный мужчина пожилых лет. Кто, откуда, какие вопросы он готовит, что ему нужно от меня — мысли стали роиться в голове, но он опередил меня.

— Я видел вас вечером по телевизору. Хотел помчатся на студию, супруга удержала. Сам бог послал сегодня мне вас.

Он говорил, глядя вперед, в сторону моря.

— Вы знаете наш язык... Откуда?

— Я русский, — сказал он коротко.

Маленький черный буксир упорно тянул в порт огромный, как айсберг, лайнер.

— Я русский. Зовите меня Николаем Николаевичем.

Он умолк, очевидно ожидая, что я назову свое имя. Я молчал.

— Меня можете не бояться. — Он усмехнулся. — Я вам не причину неприятностей.

— Почему вы решили, что я вас испугался?

— Ваши товарищи ведут себя за границей скованно, настороженно. Ведь там, за железным занавесом, вас пугают Западом, преподносят разные небылицы, чушь несусветную. Разве мы, вот я, к примеру, похожи на тех, кого у вас шерстят?

— А вы к кому себя относите?

— Позвольте пояснить, сударь? — мужчина поднял удивленный взгляд.

— Пожалуйста. К какой категории русских людей вы относитесь? К отпрыскам обветшалых князей, к обанкротившимся фабрикантам или продувшим в карты последнее кольцо белым офицерам?

Мужчина долго хранил молчание, словно ища свое сословие, потом вдруг громко и заразительно расхохотался.

— Ну вот видите, как я точно подметил, сударь мой, напичкали вас небылицами...

И он снова захохотал. Наконец, успокоившись, вытер платком глаза и со вздохом сказал:

— Я просто русский человек. Русский человек, которому жестко не повезло с родиной.

— А разве бывает так, чтоб с родиной не везло? Даже уродливую мать сын не отвергает. Широта и щедрость души покрывают неказистость.

Он поднял на меня острый взгляд и отдельно, упирая на каждое слово, сказал:

— Вы молоды меня учить. Вас и в помине не было, когда с тысячами таких, как я, строил Беломор-Балтийский канал. Тысячами... Я, кадровый офицер, пришелся не ко двору большевикам и из меня сделали землекопа. Люди голодали, стыли, но строили, фанатично веря своему усатому вождю, вина в своих бедах кого угодно, но только не его... Нет, нет, боже упаси, кого угодно, только не его. Он приближал народам России светлое будущее... Страшно было. Люди верили и гибли. Тысячами. Гибли с верой.

И однажды я вдруг ошалел от мысли что вот точно так возводил на болотах столицу своей империи Петр. На костях тысяч мужиков. Я возненавидел его, вождя народов России, возненавидел стройку! А потом мне удалось бежать за кордон. Вот так, сударь мой, я простился с родиной. Но Россия всегда жила и живет в моем сердце, та Россия, моя Россия, а не сталинская.

— Но она давно уже не сталинская. Вы очевидно плохо знаете нашу страну, нашу жизнь...

— Э нет, сударь, мы здесь о ней знали больше и лучше, чем ее народ. И изуверства Сталина и его окружения. До вас письма Раскольникова дошли только несколько лет назад, а мы их читали уже в те годы.

— Николай, ты скоро перестанешь занимать молодого человека? Я с детьми иду в кафе, — услышался женский голос.

Мы обернулись одновременно. За спиной, метрах в десяти, стояла высокая женщина с двумя длинными и худыми, как жерди, рабьятами.

— Моя семья, — сказал Николай Николаевич, слегка растянув рот в улыбке, но в голосе его послышалась почему-то отчужденность и печаль. А может, это мне показалось.

— Не откажите мне в просьбе посидеть в бистро, я хочу угостить вас стаканчиком вина. Мне хочется с вами посидеть, поймите же наконец, сударь мой, ведь я русский...

— Николай Николаевич, поверьте мне, у меня нет ни минуты времени... Может, встретимся вечером, ну где хотите.

— Мы сегодня уезжаем, — он кивнул в сторону жены.

Он снова замолчал, но, словно спохватившись, продолжал:

— Я безумно люблю Россию. В войну вступил в Сопротивление, маки, мстил гитлеровцам, мстил за свою Россию. Уж мне можете поверить, как мстил — я ведь был кадровым офицером. А теперь вот полковник в отставке французской армии. Получаю приличную пенсию, у меня свой дом в Страсбурге, машина, на которой мы приехали сюда, в Марсель, к другу военных лет, я ни в чем не нуждаюсь. Ну так выпьем мы с вами стакан вина?

— Благодарю вас, Николай Николаевич, вечером... ах, да, вы уезжаете.

Опять раздался властный женский голос.

— Оставь меня в покое на несколько минут, чертова баба, — бросил из-за плеча Николай Николаевич, потом осторожно взял меня под руку: — очень прошу вас, сударь мой, расскажите о России, о Москве-матушке, золотятся ли ее златоглавые соборы, церкви, Василий Блаженный, умоляю вас...

Да, я чувствовал по голосу, видел по глазам, как его душу, казалось бы, остывшую от тепла земли родной, разбудила, разревожила тоска по родине.

Тебе не испытать этого чувства, потому что ты не терял самого дорогого и святого в жизни, твое сердце не знает утраты самой великой и бессмертной любви — любви к земле, вскормившей и вспоившей тебя, твоего отца и мать, твоих предков.

Мне запомнилась, Осман, еще одна встреча. Она глубоко запала мне в сердце.

Я тебе похвалился, что Тулузу из нашей программы не вычеркнули, но вот с рабочими завода встретиться не дали. Объяснили, что директорат не имеет возможности отрывать рабочих от напряженного ритма. Встречу компенсировали воскресной прогулкой по городу.

Воскресная Тулуза. Она поразила меня весельем, праздничностью, богатством. Вдоль тратуаров на прилавках были выложены промышленные товары и продукты питания: говьяжки, бараньи, свиные туши, птица и рыба, экзотические овощи и фрукты. Из кафе и ресторанов распространялись ароматные запахи жареного мяса, лукового супа, кондитерских изделий. Неистовствовали оркестры и шансонье пытались перекрыть их шум, чуть ли не всовывая в рот микрофон. Толпы людей медленно двигались по рядам, примеряясь, ощупывая, прицениваясь, восхищаясь и брюзжа, торгуясь и чуть ли не ругаясь. И ведь были причины, вызывавшие столь яркие эмоции. Рядами и штабелями лежали на прилавках синие, белые джинсы, фирмы «Левис», «Вранглер»... В опромных сетчатых корзинах лежала обувь из крокодиловой кожи и майки. В картонных коробках было перемешано нежнейшее женское белье. Везде лежал товар...

На небольшой площади, у собора святого Серафино, где стоял закрепленный за нами малолитражный автобус, я почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся. На меня смотрел невысокого роста пожилой мужчина. Он был одет в полотняные пиджак и брюки, обут в стоптанные туфли. В левой руке держал газеты, в правой — сетку-авоську. Я разглядел в ней батон, несколько помидоров, салат.

— Русские? — спросил он со славянским акцентом.

— Как догадались?

— И догадываться не надо. Флажок на капоте, ваш.

— Но меня по чему признали русским?

Мужчина засмеялся:

— Любопытствуете очень. Русские очень любопытные. Вас изумляет это богатство, роскошь? Буффонада. Это не что иное, как борьба за выживание. Попробуй торговец не продать свой товар, хотя бы по сниженной цене, он будет неплатежеспособен и останется не у дел, пополнит ряды бездельников. Борьба за выживание, пся крев...

— Вы поляк?

— Поляк. — Поправил он меня поставив ударение над о, — Станислав Косовский, честь имею. В тридцать девятом, когда Гитлер захватил Польшу, ушел во Францию, думал эти дадут по зубам Гитлеру, куда там, хлипкий народ оказался, пся крив. Вступил в Сопротивление. С вашими ребятами довелось бить фашистов... Помню, один был крепкий, смуглый, другой сероглазый, какая-то звучная фамилия у него была, оканчивалась на адзе или радзе. Мы скрывались тогда в Альби. Мужественный у вас народ. Ну и я немало побил бошей. После войны служил в армии, ушел в отставку. Получаю пенсию, как видите, живу, ем витамины.

Он шутливо потряс авоськой.

— В Польше не бывали?

— Там у меня никого не осталось... После тридцать девятого. Несколько минут молчали.

— Где вы научились так говорить по-русски?

— В Ковно. Я там долго жил... А это — он кивнул головой в сторону торговых рядов — пусть вас не изумляет. Счастливо вам дохать до дому.

И старый поляк пошел семенящим шагом, держа в одной руке газеты, в другой сетку-овоську.

Доводилось ли тебе встречаться с такими людьми, Осман, понять смысл их жизни?

41

Уже несколько месяцев Симон и Керим работали агрономами в колхозах. Чуть забрезжит рассвет, Симон отправлялся в Сабнава, а Керим в Белиджи. Одно облегчение: им дали лошадей как молодым специалистам. Симон и Керим заявили председателю: если не выделяете нам дом или осуду на строительство, так предоставьте хоть средство передвижения. Председатели собрали правление, думали — рядили и дали им во временное пользование лошадей. У Симона оказался серый жеребец, у Керима — каурый кобылка.

Джамал посмеивался в усы и удивлялся: никогда не думал, что мои сыновья могут стать исправными конюхами. И верно: Симон и Керим привозили лошадям корм, чистили и мыли их, прибирали за ними двор, и лошади день ото дня становились ухоженней, даже ростом казалось выросли и уже шли не понуро, а гордо вскинув головы, распушив пышные хвосты. Работы по уходу за лошадьми братья возложили бы на Гаврила, но он учился в институте в Махачкале и приезжал только на воскресенье, и то если не был загружен общественной работой.

— Что вы будете с ними делать зимой, — спросил как — то вечером Джамал у сыновей. — Они у вас замерзнут под открытым небом. Нельзя держать их на холоде.

— Навес построим, — не задумываясь ответил Симон.
— Навес на лето. Им хотя бы сарай построить.
— Сделаем, — произнес Керим, расчесывая приву кобылки.
— Сделаем... — передразнил Джамал. — Из стука моих четок, что ли?

— А мы доски потребуем у своих председателей. Так, Симон.
— Верно, выбьем.

И выбили. Спустился две недели у высокой каменной стены, в двух шагах от калитки, они уже стучали молотками, тесали, пилили, спрогали, Ставили сарай.

С какой гордостью и любовью смотрел Джамал на сыновей, когда они, крепкие, загорелые, легко взлетали в седла, изготовленные и искусно расписанные старыми мастерами, его друзьями. Лошади, высоко вскидывая головы и кося большими умными глазами, закусив удила, гарцевали, нетерпеливо взбивали копытами землю, оглашали двор радостным храпом, предвкушая быстрый бег.

— В их души вселилась красота и гордость, — говорил Джамал сыновьям. — Судьба вознаградит вас за это.

— Ты стал верить в судьбу, отец? — смеялись сыновья, крепко, как влитые, сидя в седлах. — Ты, никогда не веривший в нее?

А лошади яростно били землю, и нетерпеливый храп их будил молодых женщин, они выносили мужьям свертки, опускали в расшитые яркими цветами хурджины¹, и всадники наконец выезжали за калитку и галопом мчались по улице, затем Симон сворачивал направо, на дорогу в Сабнава, Керим налево, в Белиджи.

Как-то поздно вечером Кериму под руку попала записная книжка. Раскрыл ее: почерк Симона. Стал читать, зачитался. Перевернув последнюю страничку, он вдруг громко, даже неожиданно для себя закричал:

— Симон...

Тот прибежал со двора встревоженный:

— Что случилось?

— Симон... Надо их печатать.

— Где печатать?

— Где печатать... — передразнил Керим. — Мне еще тебя учить. Неси в газету «Захметкеш»².

— Неловко как-то...

— Год будешь чувствовать неловкость, два, потом пропадет интерес... Завтра же пойдем в редакцию.

1 Хурджины — сумки, сотканые из ковровой шерсти, перекидывают через седло.

2 «Захметкеш» — «Труженик».

— И ты со мной?

— Ну конечно!

На следующий день, отпросившись от работы после обеда, они зашли к редактору газеты «Захметкеш». Тот, выслушав Симона, небрежно взял записную книжку, прочитал первую страницу, подняв удивленно брови, углубился в чтение и, наконец, положив перед собой, проговорил:

— У тебя, молодой человек, дар стихотворца. Мы опубликуем.

— Спасибо — произнес Симон.

— Это тебе спасибо.

А к концу следующего дня Симон во весь опор мчался домой. Председатель колхоза, разыскав его в поле, сообщил, что у него родился сын.

Въехав во двор, Симон увидел отца, сидевшего как ни в чем не бывало на скамейке, подставив лицо заходящему солнцу; шапка лежала на колене. Рядом сидел Керим.

Симон соскочил с коня, привязал его к стволу дерева, только потом подошел к отцу.

— Поздравляю тебя, отец, с маленьким Джамалом.

Джамал поднял на него глаза, улыбнулся благодарно:

— И тебя поздравляю, сын, наследником, хотя вернее с продолжателем рода, наследовать — то ему нечего. А ты, Керим, что нос повесил? Не печалься, и у тебя родится. Просто кто-то должен быть старше, кто-то моложе, природа так распорядилась, ею понукать, как лошадью, нельзя.

42

В конце дня, когда уходящее солнце выплеснуло свое последнее тепло на город, в магазин вошел Илдириим. Не замечая Назыма, он последовал молодецкой походкой к креслу, встал за спинкой и, нагло улыбаясь в зеркало, подмигнув Осману, отрекомендовался:

— А вот и я, твой дорогой шуриин Илдириим. Сдается мне, соскучился по своему родственнику?

На лице Османа не дрогнул ни один мускул. Сколько этому мерзавцу лет? — подумал он про себя, — кажется около шестидесяти, да, должно быть, но держится петухом, и как держится, хоть сейчас выставляй на петушиный бой. И выглядит неплохо, одет по моде, даже богато. Интересно бы узнать, кто его снабжает деньгами, а впрочем этот тип не побрезгует быть и сутенером, и содержателем борделя.

— Вижу, ты не очень рад моему визиту, доброму визиту, —

подчеркнул Илдири́м. — В таком случае пока поднимусь к сестре, погляжу на нее, справлюсь о здоровье.

Он насвистывая поднялся по винтовой лестнице, высоко и гордо вакинув голову. Осман поймал в зеркале настороженный взгляд Назыма, однако ничего не ответил.

Сверху раздался голос жены:

— Осман, иди пить чай, позови и Назыма...

— У нас дела, жена, вы пейте...

Обязательно что-нибудь выключит у сестры, — недовольно проговорил про себя Осман. — Нет у этого человека ни мужского достоинства, ни самолюбия. Тьфу...

Чаепитие продолжалось долго. Спускаясь вниз, Илдири́м сытно произнес:

— Живете вкусно, позавидуешь только. На столе — и долма, и пити, и плов, и ореховая халва, и сушеная дыня, и миндаль, и рахат-лукум... Не перечислишь всего. Это вам не рамштексы и антрекоты ресторанные, застревающие в зубах... Вкусно живете...

Илдири́м прошелся несколько раз по магазину, наконец остановился за спинкой кресла.

— Ты догадываешься, зачем я пришел, — проговорил он тихо. Осман улыбнулся краем губ.

— Вот видишь, даже точно знаешь... Мне нужны деньги.

— У меня их нет. Я тебе уже говорил, если ты не запомнил.

— У меня их нет, у меня их нет, — зло передразнил Илдири́м.

— У кого же они есть, если не у тебя. Каким образом ты приобретаешь все это? — Илдири́м махнул рукой в сторону прилавков.

— Или у тебя есть лампа, «Аладина»? А может, товары поставляют воровские шайки, следует мне это проверить с помощью полиции, не то на старости лет родную сестру мою оставишь без франка... Не на что и похоронить будет.

Шантажист мерзкий, сказал про себя Осман, какую только подлость не придумает.

— Твое молчание — не знак согласия, — задумчиво проговорил Илдири́м. — Твое молчание — знак презрения, я знаю. Но недолго придется меня презирать. Неужели ты оглох, ослеп, не слышишь и не видишь, что происходит в мире. Сильные берут власть, захватывают власть, сжимают в кулак неудобных. Какие фигуры появились на политической арене: Муссолини, Гитлер... это не слюнтяи, как Дежикин или Колчак... Гитлер — это фигура, политическая фигура, монолит. Ты слышал, как он выступает? Огонь, порыв, взрыв чувств и эмоций. Народ бешенее от его слов, призывов. Вот кто сокрушит Советы и вернет нам Дербент. Да, да, он сокрушит Советы и вернет нам Дербент, положение, власть. У него железная армия, под его пятой целый ряд стран... Польша,

Чехословакия, Австрия, Дания, с ним Италия, Венгрия, Румыния... Нет, Осман, не выживут кроты, подобные тебе, их и под землей достанет штык, снаряд, газы...

Глаза Илдирима блестяли, он побледнел, на губах выступила слюна.

— А ты деньги жалеешь. Деньги прячешь. Найдем, все до мелкой монеты найдем, дом перевернем, кирпичи разберем, за ноги повесим над огнем, а найдем, найдем...

Он резко повернулся и вышел из магазина. Осман медленно встал, подошел к окну и чуть отодвинул портьеру.

Илдирим стоял на улице. Запрокинув голову, он дышал как-то неестественно, судорожно задыхаясь. Внезапно схватился правой рукой за грудь и сполз на землю.

Выскочив из подъезда, к Илдириму подбежал немолодой мужчина. Осман признал в нем бывшего работника Велли. Тот опустился на колени, приложил ухо к груди, слушал долго. Потом встал и резко побежал вдоль прежней части дороги, размахивая рукой, пытаясь остановить свободную машину.

— Сердце — проговорил Осман. — Переполнилось от зла и ненависти...

— Много их у него накопилось, — проговорил стоявший за спиной Назым.

— Пойдем, занесем в дом? — произнес Осман, не двигаясь с места.

— Он нам хуже врага.

— Матери не говори, что у Илдирима сердечный приступ. Он ведь ей родной брат, ее боль и горе.

— Не скажу, отец.

Вечером, закрыв магазин, Осман посадил рядом с собой Назыма.

— Время сложное, сын. Я подумал и решил: нам надо сделать потайной шкаф. О нем будем знать только мы, я и ты. Ночью, когда все уснут, спустимся в подвал, в задней стене разберем кирпичную кладку. Слушай дальше, размалюем стену различными надписями на азербайджанском языке, намалюем и слово Осман, букву «О» наложим на кирпич, за которым будет тайник. Надо спрятать все: ценные бумаги, драгоценности, золотые динары, крупные купюры... Тебе и твоим детям жить...

Через несколько дней Бульвар Османа огласился треском и гулом мотоциклетных моторов, потом раздался стук кованых сапог.

Осман и Назым подошли к окну. По Бульвару шли немецкие колонны.

Война докатилась и до Дербента. По жарким и пыльным улицам с утра до вечера в сторону вокзала шли колоны солдат, катили арбы и подводы с продовольствием и одеждой для фронта. Шумный восточный город, оглашавшийся прежде громкими голосами женщин, переговаривавшихся через дорогу, через забор и даже двор, гомоном детворы, свадебной музыкой, притих. На его улицах звучала уже другая мелодия: скребущий душу скрип колес и четкий стук солдатских сапог.

Несколько раз над городом появлялась немецкая рама, опускалась низко, что-то высматривала, выискивала, но завидев взлетающих истребителей, тут же удалялась.

Симон и Керим не раз заходили в военный комиссариат, требуя отправить их на фронт, но им неизменно отвечали одно и то же: ждите, настанет и ваш черед.

Как будто от их участия зависел ход войны.

Когда Симон и Керим в очередной раз пришли в военкомат, им вручили повестки.

Накануне отъезда сыновей Джамал пригласил своих старых друзей-музыкантов. Расположились на полу за сюфре. Рядом с Симоном и Керимом сели их жены с красными от выплаканных слез глазами. Чуть поодаль на плоской подушке сидела мать, поминутно вытиравшая кончиком халата щеки.

В этот вечер Гюршюм, Варган и Сеттер не исполняли веселых песен; музыка их была напевна, жалостлива, настраивала на раздумья.

— Я бы и сам пошел в армию, взгляните на мою руку, взгляните, дрожит она? — Джамал вытянул правую руку, крепко сжимая пальцами стакан с белым вином.

— Ничуть не дрожит.

— То-то же. Я бы не задумываясь пошел. Да годы не те, кто меня отправит...

— Со стаканом твоя рука не задрожит, а вот с винтовкой... удержит ли ее, — улыбнулся Гюршюм.

— Ты эти насмешки оставь в своем хурджине для кого-кого-нибудь другого, — сказал Джамал. — Хочешь проверить — неси винтовку.

— Довольно вам, старым дурням, препираться, — вмешалась жена Джамала. — Дети на войну уходят, а вы шутите.

— Шутим, чтобы им в дороге, а потом в окопах было над чем смеяться, — сказал Гюршюм. — Верно я говорю, Джамал?

— Верно ты говоришь, когда выпиваешь боценок вина, а пока и двух стаканов не осилил, — хмыкнул Джамал.

— Какая сорока тебе донесла, что я бооченок выпиваю? — поразился Гюршюм.

— Наклонись ко мне, шепну на ухо.

Как только Гюршюм наклонился, Джамал таркнул во все горло, да так, что все вздропнули:

— Твой раздувшийся бурдюк.

Все молча переглянулись между собой и вдруг громко расхохотались.

Потом музыканты снова заиграли, а устав и отложив инструменты, ели вкусные кушанья, приготовленные женами Симона и Керима, а потом Керим попросил сыграть медленный танец и поднял на ноги Симона и Гаврила, а потом братья танцевали с женами, даже подняли долго упирающуюся мать, а Джамал смотрел на них и думал про себя: может, в последний раз танцуют сыновья мои, не должны в последний, они только начали жить, это было бы против всех законов природы...

На следующий день Симон и Керим уезжали. Они не позволили матери и женам идти на вокзал. Братья нежно обняли и поцеловали обмякшую и обессиленную мать, Симон поднял на руки сына, расцеловал его, передал жене. Керим, приласкав жену, которая была в положении, проговорил: родится сын, назовешь Асланом, потом обратился к Джамалу:

— Отец, если у меня родится сын, назовите Асланом.

— Назовем, как желаешь. Аслан красивое имя.

Наконец Симон и Керим закинули за плечи вещевые мешки и пошли со двора. За ними последовали Джамал и Гаврил.

Над вокзалом стоял хаос звуков. Паровозы с шипеньем и свистом выпускали пары, тут и там раздавались команды и солдаты, сбившись в колонны, торопливо шли к своим эшелонам, провожающие метались по путям в поисках своих родных и близких, громко и истошно звали женщины и жалобно плакали уставшие дети, издерганные люди на чем свет стоят проклинали Гитлера, не стесняясь своих выражений.

У водонапорной башни Джамал остановился:

— Дальше я не могу идти, простите меня, старика, выбился из сил. Затолкали меня здесь, оглушили криками, — а про себя подумал: умно поступили мои сыновья, не позволив женщинам идти на вокзал.

Джамал опустился на большой, пригретый солнцем камень, прислонился к стене башни и вытянул устало ноги.

— Вы там, дети мои, не бегите от пули, она трусов не любит... И верьте, что обязательно вернетесь живыми и здоровыми. Твердите это про себя месяц, год, сколько потребуется. Ни на минуту не теряйте веру. А теперь идите к своим, идите, я тут передохну.

Симон и Керим поочередно наклонились к Джамалу, крепко

обняли, прижавшись к его плечу, которое пахло теплом и солнцем, и направились к эшелону.

44

Веселый, шумный, задорный Париж вдруг умолк, насторожился. Улицы обезлюдели, опустели.

Вольготно чувствовали себя лишь немецкие солдаты, да по ночам ярко расцветчивались казино, порномагазины, и публичные дома гостеприимно распахивали двери перед офицерами.

Парижане затаились в своих квартирах. Резко сократилась торговля.

Осман, сидя в кресле и перебирая четки, уже подумывал запереть магазин — в течение дня к нему заглянули всего несколько клиентов сделать мелкие покупки, да и на бульвар уже опускался вечер, — когда дверь открылась и сразу захлопнулась. Осман поднял взгляд: стояли мужчина и юная девушка, плотно прижимаясь к стене. Они озирались. Не увидя никого, мужчина громко окликнул:

— Есть здесь кто-нибудь?

— Я вижу вас, — ответил Осман. — Что-нибудь случилось?

— Нас преследуют. Спасите хотя бы Жаклин.

— Пройдите в заднюю комнату, она за винтовой лестницей, поднимите люк, спуститесь в подвал, заройтесь в мануфактуру. Заройтесь так, чтобы и запаха вашего не было. Назым, — окликнул он, — проводи их, быстро.

Назым помог незнакомцам спуститься вниз и захлопнул люк.

— Иди к прилавку и займись чем-нибудь, — посоветовал Осман. — Перебирай товар. А лучше — считай выручку, жалкую выручку...

Осман не успел закончить фразу, как дверь резко распахнулась от удара, задребезжало стекло, в магазин ввалились немецкие солдаты и, широко расставив ноги, замерли, держа руки на автоматах. Вслед за ними вбежал молодой, высокого роста светловолосый красивый офицер.

— Где хозяин? — громко и резко выкрикнул он по-французски.

Осман встал с кресла и подошел, перебирая четки:

— Я хозяин, господин обер-лейтенант. Что желаете приобрести? К вашим услугам.

— Что вы мелете?.. Где наши французишки?..

— Господин обер-лейтенант, я торгую мануфактурой, персидскими коврами, восточными сладостями и пряностями, о каких французишках вы говорите?

— Обыскать дом, — резко бросил офицер солдатам. Добрая

половина их бросилась выполнять приказ. Кованые сапоги загремели по винтовой лестнице.

— Вам всем не одобровать, если мы вытащим из нашего дома за длинные уши наших зайцев. — Офицер рассмеялся, задрав голову.

— Аллах свидетель, — Осман уперся взглядом в потолок, воздев руки вверх. — Я человек верующий и никого и никогда не обманывал. Священная книга Коран нам запрещает обманывать под страхом смерти.

— Хм... Одна из десяти заповедей... — Офицер уставился острыми глазами в Османа, задумался: — Куда же в таком случае они могли деться?

— Кто эти люди, которых вы ищите, господин обер-лейтенант!

— Бандиты. Мужчина и девушка с ним.

— Дом большой, господин обер-лейтенант, и бульвар велик. Мудрено ли скрыться...

— Что вы там копошитесь? — гаркнул офицер, глядя в сторону лестницы.

— Их нет, господин обер-лейтенант.

— Тогда вперед, в другой дом, живо, живо.

Солдаты устремились на улицу.

— Если вам потребуются восточные товары, запомните мой магазин, господин обер-лейтенант. Я к вашим услугам.

— Не премину воспользоваться, — ответил офицер и выскочил на улицу.

Осман только сейчас почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Он дошел до кресла и упал в него.

— Запри дверь, — бросил он устало сыну.

Назым, стоявший за прилавком безмолвный, скованный предчувствием беды, вдруг пришел в себя, тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение, и пошел к двери. Заперев ее на замок, он подошел к отцу и уставился на него:

— Ты... их совсем не боялся?

— Я боялся, что не ко времени придет мать, увидит немцев с автоматами в своем доме... У нее и без того сердце никуда не годится.

— Но они могли найти французов и тогда... расстреляли бы всех нас!..

— Но ведь не нашли... И знай, сын, если эти вооруженные собаки ловят безоружных мужчину и юную девушку, значит мы сделали богоугодное дело. До утра не выпускай их. Да, не забудь дать поесть. Завтра решим, как их вывести из города.

Я согласился посетить твой дом, Осман. Уступил твоим просьбам перед вылетом в Альби.

Думал ли я, ты, твой отец, чем обернется мое посещение?

Нарядный, людный и шумный бульвар Османа купался в золоте полуденного солнца. В походе людей, в облике бульвара читалась какая-то праздничность. Мой взгляд остановился на многоцветной, яркой, красочной рекламе. Над дверью крупно вязью было выведено «Осман». Ты поймал мой вопрошающий взгляд и с улыбкой пояснил:

— Наш магазин. Его так назвал мой дед, назвал своим именем, а не в честь бульвара. Надеюсь, вы знаете, почему бульвар назван именем Османа?

— Надейся, — коротко ответил я тебе.

Не хотелось эту искрящуюся солнечным светом праздничность портить пустой болтовней.

Мы вошли в магазин. Он мне показался роскошным. Пол и две круглые колонны были отделаны мрамором. Стены расписаны сюжетами из восточных сказок. Окна задернуты тяжелыми богатыми гардинами. Я бросил взгляд на прилавки: они ломились от товаров.

— Отец, я пригласил к нам гостя, — радостно произнес ты. — Знаешь, откуда он?

— Откуда бы ни был, гость всегда подарок для нашего дома, — интонации, степенность в голосе подсказывали мне, что он принадлежит человеку, уверенному в себе.

Из кресла, стоявшего спинкой к посетителям, поднялся мужчина и кивнул головой в знак приветствия. Это был твой отец. Виски его были кипельно белыми, но вьющиеся густые волосы еще не поседели. Большие карие глаза смотрели пристально, умно.

— Поднимитесь наверх, — произнес он. — Я скоро подойду. Мы опустились в мягкие кресла. Вошла юная девушка, поздоровалась, поставила на столик кофейный фарфоровый хувшин с чашками и вышла. На мой немой вопрос ты тут же ответил:

— Наша экономка.

Чуть помолчав, добавил:

— Единственная женщина в доме.

И после долгой паузы:

— Мама умерла десять лет назад. Мама была красивая.

Ты показал взглядом на портрет, висевший на стене. С него глядела на самом деле красивая молодая женщина.

— Француженка? — спросил я.

— Ее звали Жаклин.

Потом ты включил магнитофон, негромко, по комнате разлилась музыка Поля Мориа.

Поднялся, наконец, твой отец. Садясь в кресло, он произнес с улыбкой:

— Назым сын Османа, а этот молодой человек мой сын Осман.

— Аслан Османов, — я чуть привстал и снова сел. — Если представляться как наши деды, сказал бы: Аслан сын Керима.

Взгляд твоего отца остановился на мне, насторожился. Он, казалось, изучал меня, или хотел прочитать мои мысли... Мне стало не по себе.

— Вы так долго смотрите на меня...

— Я так, задумался, — он налил в чашечку кофе, отпил, поставил ее на блюдечко. — Что же вы скучаете? Осман не позволяй гостю скучать, какое впечатление он вынесет из нашего дома. Я хотел спросить вас, откуда вы приехали?

Ты зарделся от смущения, усмехнулся:

— Я же тебе уши прожужжал, отец, что Аслан приехал из России, он журналист...

— Извини, — прервал тебя отец. — Я хотел спросить, из какого города. Россия большая...

— Если вам это интересно, то из Махачкалы, а родом из Дербента.

Твой взгляд замер на моем лице, а твой отец, отпивавший очередной глоток кофе, вдруг поперхнулся, закашлялся из глаз выкатились слезы.

— Откуда, вы сказали? — откашливаясь, протяжно спросил он.

— Из Махачкалы, а родом из Дербента. Что вас удивляет? Или вам знакомо название города?

Твой отец вытаращил на меня глаза и откинулся на спинку кресла:

— Вы, случайно, не знаете в Дербенте некоего Керима?

— Керимов в Дербенте много. — Теперь насторожился я.

— Ну конечно, вы молоды, где вам его знать. Но вы должны знать Джамала, нет, нет, что я говорю, откуда вам знать его, он, наверно, давно умер. А может... вы все-таки слышали в Дербенте имя Джамала. Его должны там знать.

— Джамала, — повторил я вслед за твоим отцом — Джамала... Джамал был моим дедом. Но откуда вы его знаете?

— Ваши вопросы потом, потом, не сбивайте меня, — лицо твоего отца побледнело, на нем читались растерянность, ожидание, надежда. — А не жил ли у него... Не воспитывался ли у него мальчик, которого звали Керимом.

Внезапно перед моим взором мысленно промелькнули вывеска

над магазином «Осман», имя моего собеседника Назым и его отца Осман, мгновенно память выплеснула мне рассказы деда Джамала о своем соседе Османе, его бегстве и больном сыне, оставленном на попечение — о Кериме, моем отце, который стал ему сыном, вырос с Симоном и Гаврилом, окончил институт в Москве, женился, ушел на фронт и пропал без вести. Я не видел своего отца, я знал его только по фотографии, молодым. И таким молодым он останется навсегда со мной и с моими детьми... А дед Джамал, усадив меня на колени, часто вечерами рассказывал об отце, и от него, моего деда Джамала, я получал ласки, заменявшие мне отцовские...

— Мой дед Джамал воспитал и вырастил Керима — сказал я, жестоко глядя в лицо твоему отцу. — Сына Керима, которого родной отец Осман полуживого оставил у нищего сельчанина. Да, дед Джамал вырастил со своими сыновьями и сына Керима.

Твой отец долго смотрел на меня не отрываясь, словно онемев. Потом слабо, словно его избili, спросил:

— Где он, мой брат Керим...

— Пропал на войне, без вести.

Твой отец закрыл глаза и умолк. Ты продолжал немо глядеть на меня.

Из глаз твоего отца выползла слеза и, покотившись по щеке, растеклась у подбородка.

— Бедный Керим, — прошептал он. — Бедный Керим, так и прожил свою жизнь без семьи.

Он взглянул на меня.

— Так и прожил без семьи, — повторил он.

Я улыбнулся. Какое-то чувство раскованности овладело мной, может быть, оттого, что волею судьбы, по стечению обстоятельств, случайно была разгадана моя родословная? Нет, не разгадана, я ее знал по рассказам деда Джамала; волею случая я воочию увидел потерянную ветвь своего генеалогического дерева... И успокоился. Окончательно. Но вот что удивительно: я к вам не чувствовал ни родственного тепла, ни родственной близости. Ничто меня к вам не тянуло, абсолютно ничто... Мы задавали друг другу вопросы, отвечали, думали, перебирали в памяти. Но мы были как чужие люди, хотя в венах наших текла одна кровь...

Вдруг твой отец поднялся, подошел ко мне, склонился и обнял меня. Так неожиданно, что я не успел приподняться. Лоб его был холоден.

Потом твой отец прошел к своему креслу, опустился в него и проговорил:

— Что я могу сделать для тебя, дорогой? Этот магазин принадлежит и тебе. Он и твой. Мой отец завещал его мне и Кериму...

— А для чего он мне? — улыбнулся я. — Неужели вы думаете, что я останусь? У вас?

— Но ты наш, плоть от плоти, кровь от крови?

— Да, Аслан, ты наш, — изрек наконец и ты после столь долгого молчания.

Я засмеялся.

— Не смешите меня, пожалуйста. Вы взрослые люди и понимаете, что у нас все разное: и воспитание, и отношение к жизни...

— Ты говоришь глупости, — жестко прервал меня твой отец. — Воспитание, отношение... В этом мире (бог — деньги. Живет тот, кто владеет. Чем ты владеешь?

— Могилами моих предков, давших начало сыновьям и внукам Османа.

Твой отец резко поднял голову и уперся в меня взглядом.

— А еще родным языком, женой — азербайджанкой, сыном, который знает свой язык... А что у вас осталось от своего народа и языка? Одни имена. И вы еще хвалитесь, что чем-то владеете!.. Может, вы имеете в виду магазин? Я считаю, что это вам судьба дала садага¹ за все потери.

— Ты рассуждаешь так, словно стал гяуром. Не хочешь ли добавить, что не веруешь в аллаха?

— Ваш брат, а мой отец Керим Османов тоже не веровал в аллаха, он был, не пугайтесь, коммунистом, как и его братья Симон и Гаврил. Коммунистами стали и дети Симона и Гаврила, и сын Керима, то есть я. Конечно, им станет и мой сын Керим. А ваш сын Осман верующий, значит, мечеть посещает. А ночью злачные места Парижа? На его лице за все дни нашего знакомства я не смог не то что прочитать, но найти тени покорности, отрешенности от всего земного, что так облагораживает истинно верующих детей аллаха.

Твой отец прищурил глаза:

— А ты дерзок, племянник. Неужели такими дерзкими воспитывает ваша школа, ваша власть? А может, это уроки нищего Джамала, заставившего моего кровного брата забыть родной язык, женившего на обездоленной татке и отправившего на войну, на верную гибель?..

Почему твой отец выплеснул, излил вдруг столько желчи? Ему не пришлось по духу мои взгляды?

— Мне жаль вас, — сказал я твоему отцу спокойным, ровным голосом. — Вы не пошли в своего деда Османа. По рассказам деда Джамала я его знаю лучше, чем вы, да нет, вы хорошо его знаете, только вы лучше приспособились к вашему миру, офранцузи-

¹ Садага — пожертвование.

лись... Мне стыдно бывает слушать, когда взрослые люди, простите, говорят глупости собеседнику, чтобы досадить ему. Вы же не знаете о Кериме и обо мне ни-че-го. И говорите всякую чушь. А теперь послушайте, что я вам скажу. Керим Османов, сын вашего отца Османа, писался в документах азербайджанцем, но знал три языка: родной, татский и русский. Женился на красивой азербайджанке Наргис из Дербента, которая и сейчас живет и здравствует со мной, и свадьбу ему справили вместе с сыном Джамала Симоном, но вы уже давно забыли, или просто не знаете, что танцы у нас и песни одни, и я, представьте себе, в документах азербайджанец, хотя, как и отец, владею тремя языками, нет, четырьмя, к вашему сведению — и французским, а на русском пишу и мыслю. И чтобы окончательно успокоить вас, заверю, что мой сын Керим знает три языка... А вы, то свой помните, или ваш сын Осман хоть слово может произнести? Вы — оторванная ветвь от нашего дерева, привитая к чужому. А привитая всегда остается привитой. Простите, брат отца, я надерзил вам?

Твой отец слушал меня, замерев, на его лице появились багровые пятна.

— Ты что, поучаешь меня, меня, своего дядю, шестидесятипятилетнего мужчину, Назыма Османова уважаемого (бизнес-мена...

— Я вас не поучаю я вам рассказал о вашем брате и его сыне, который живет на земле своих предков. Прощайте.

— Я встал и вышел из гостиной, не оглядываясь.

Я покинул ваш дом без сожаления, и, глубоко вдыхая свежий воздух, медленно пошел по вечернему бульвару.

46

— Без команды не стрелять!.. — вспорол тревожную тишину высокий, мальчишеский голос лейтенанта.

Впереди до самого горизонта скатертью лежала выжженная солнцем степь. По ней словно жуки ползли танки.

— Сержант Османов, сколько раз повторять — надеть каску... — опять подал голос лейтенант.

Симон усмехнулся: так его, так, чтоб не подставлял голову под шальную пулю. Раз его она уже зацепила, пошел в атаку, оставив каску на бруствере, зацепила у виска, оставив на нем горячий след и вспоров ухо. Это было под Киевом... А за бой получил орден Славы.

— Без команды не стрелять...

Несколько снарядов один за другим взорвались перед траншеей, подняли столбы земли.

— Засекли, сволочи, — выругался Симон, отряхнувшись, снова низко склонился над противотанковым ружьем, взял на прицел

облюбованного жука. Танки приближались, снаряды падали все чаще и гуще, один угодил прямо в траншею, раздались стоны раненых.

Симон слился со своим ружьем. Он ясно различал бегущих немецких автоматчиков. Пора, произнес он про себя, пора начинать, что же ты медлишь лейтенант...

— Взвод, огонь, — вскрикнул мальчишеский голос. Симон уловил в этом голосе боль, но прохот боя тут же отвлек его. Застучал пулемет, короткими очередями забили автоматы... Симон, наконец, нажал пальцем на курок: танк замер. Справа дымился еще один. «Керим подбил, — сказал про себя Симон, — молодец»...

Немецкие автоматчики упорно шли на траншею. «Почему нет команды, — спросил про себя Симон, нажимая очередной раз на курок. Железное чудовище замерло совсем недалеко от траншеи, закрыв обзор. Симон перебежал на новую позицию.

— Где лейтенант? Почему нет команды? — спросил он автоматчика, расположившегося рядом.

— Тяжело ранен лейтенант...

На правом фланге танк полз к траншее, оставалось тридцать метров, двадцать... Расстояние сокращалось... «И что же медлит Керим, — нельзя так близко подпускать, нельзя...» Вдоли секунды Симон развернул свое ружье, навел прицел, затаил дыхание, выстрелил. Танк повис над траншеей.

Немецкие танки отходили, оставив в степи автоматчиков.

— Взвод, слушай мою команду... — поднялся Симон. — Бери команду на себя. Бугаев, что с Османовым?

— Ранен, товарищ сержант.

— Бери его петезр. Бей по линии среза между башней и туловищем... Пинчук...

— Я, товарищ сержант...

— Беги к ротному, пусть просит огня у артиллерии. Сейчас они снова пойдут. Петезры вступают в бой по обстановке, остальные — после моей команды. Бугаев, ты понял, по обстановке...

Первый же выстрел Бугаева оказался удачным.

Вот тебе и автоматчик, подумал про себя Осман, и тут же усмехнулся над собой: автоматчик... он же охотник, профессиональный охотник, не дрогнув, идет на медведя...

Столб земли обрушился на Симона. Он уперся локтями, скинул со спины тяжесть, опрыжнулся, приподнял голову: немцы были на расстоянии ста метров.

— Взво-о-од огонь... — заорал он, но не услышал своего голоса.

— Ого-о-ны!

Над бруствером появился ствол, затем пусеницы. Симон присел, острая мысль пронзила мозг: он не ревет, не лягает, неуже-

ли я оглох, я оглох, я... Какая страшная тишина... И вдруг все грохоты войны обрушились на него он зажал уши; над головой зависло туловище танка. И в тот момент, когда танк, переехав траншею, вполз на твердую землю, Симон метнул противотанковую гранату вдогонку и упал на дно траншеи. Ухнул взрыв.

Симон снова бросился к своему ружью, навел прицел на надвигающийся танк, выстрелил...

И тут земля взорвалась черным столбом. Снаряды кучно ложились впереди траншеи. Успел Пинчук, подумал Симон, молодец, Пинчук.

— Немцы откатываются, товарищ сержант...

Симон уже строчил из автомата по отступающим немцам, вложив в долгие горячие выстрелы всю свою боль и гнев.

— Товарищ сержант... товарищ сержант...

— Пинчук? Молодец, успел сообщить...

— Товарищ сержант, ротный приказал отходить во вторые траншеи.

— Как во вторые? — Симон уставился на бойца, потом махнул рукой. — Приказ не обсуждается. Ребята... отходим во вторые траншеи. Берите раненых, убитых...

И тут он вспомнил о Кериме...

Перекинув через плечо автомат, подхватив противотанковое ружье, Симон бросился бежать по траншее к правому флангу.

Керим лежал на земле, рядом сидел Бугаев с перевязанной головой.

— Как он, жив? — спросил Симон, опускаясь на колени.

— Жив, контужен сильно...

— А ты чего сидишь? Бери ружье и во вторую траншею.

— Его надо тащить, вот сейчас сил поднакоплю...

— Иди, я сам его поташу. Только прихвати вот и мое ружье, если тебе не трудно.

— Отчего ж трудно, на войне ничего не трудно...

Симон взвалил Керима на спину, вылез из траншеи и, пригнувшись, побежал по иссохшейся степи, то и дело поглядывая на семенившего рядом Бугаева.

47

Пришла повестка и Гаврилу. Проводив его на фронт, Джамал остался в доме со старухой, невестками и внуком. Несколько раз в неделю над городом появлялись немецкие самолеты, но увидев наших истребителей, улетали, не вступая в бой. Правда, они пытались сбросить бомбы на железнодорожную станцию, но смертоносный груз упал на берег моря. Взрывы напугали дербентцев.

Джамал решил вырыть во дворе бомбоубежище. Мало ли что может случиться, говорил он себе, прилетит этот фашист, сбросит наскоро свою дурную бомбу. Ему безразлично, куда сбросить. А ей безразлично, куда упасть. А мне надо семьи сохранить для моих сыновей. Бомбоубежище Джамал рыл сам: его руки еще хорошо владели киркой, ломом, лопатой, старшая невестка — жена Симона помогала, второй невестке не позволял — она была беременна.

Бомбоубежище Джамал построил: сверху перекрыл досками, разобрал конюшню, высоко засыпал землей, пол настелил тоже досками, сколотил столик, вдоль стен поставил широкие скамейки-лежанки. И на сердце стало спокойней. Теперь как только к городу подкатывался гул самолетов, Джамал отправлял женщин и внука в бомбоубежище, а сам оставался на веранде, садился на тахту и ждал, что произойдет. Но... ничего не происходило.

Как-то Джамал сообщил женщинам, что решил пойти в Табасаран: отнесет что-нибудь из лишней одежды, выменяет на муку, сыр... С ним вызвалась идти старшая невестка: не отправлять же семидесятилетнего старика одного. Ранним теплым утром она закинула на спину полный мешок одежды, Джамал взял в руки суковатую палку, и не спеша направились по пыльной дорожке в сторону Табасарана.

Возвращались на арбе. Старый кунак Джамала ехал в Дербент на воскресный базар и подвез их к самому дому. Невестка занесла на веранду мешок муки, две головки сыра, мешок кураги. Джамал тащил на привязи упирающегося беленького козленка.

— Где ты раздобыл этого дьяволенка? — обрадованно воскликнула старуха, сидевшая на веранде с внуком на коленях. — У кого выкрал, а ну признайся?

Джамал довольный улыбнулся.

— Старые друзья еще живы... Этот козленок кстати моим внукам. Молочка попьют, силушки наберутся. А где моя невестка, почему она не встречает нас?..

— Две радости у тебя, старик!

— Какие, говори быстрее, не томи душу...

— А я и говорю. Невеста тебе внука подарила.

— Аслана... — произнес Джамал. — Ай да молодец, исполнила завет мужа... А другая какая радость?

— Письма пришли от твоих сыновей. В комнате, на столе лежат

Джамал стряхнул с себя пыль, разулся, вошел в комнату, развернул письма, прочитал одно, потом другое, и довольная мягкая улыбка осветила его лицо:

— Молодцы, молодцы сыновья, не срамят отца... Герои уже, у Керима два ордена Славы, у Симона орден Славы и орден Крас-

ной звезды... Не боялся, значит, пули. Видать, верно говорят в народе: героев не матери рожают, героями дело делают.

48

В Альби со мной вылетел и ты. Я долго размышлял над тем, что тебя побудило отправиться в поездку. Чувство привязанности? Или вдруг вспыхнувшие родственные чувства? Что бы там ни было, а ты летел со мной.

На встречу с рабочими стекольного завода имени Жена Жореса я тебя не пригласил, она была организована только для журналистов. Но на следующий день мы взяли тебя с собой в музей Тулуза Лотрека, а потом пошли в собор, примыкавший к музею. Вид его снаружи был внушительен, но он буквально потряс нас, когда мы вошли в него. Колоссальный и громоздкий, он оказался изящным и почти хрупким изнутри. Невозможно передать словами крепость мощь и красоту этого монолита.

Потом мы долго бродили по улицам Альби под впечатлением произведений Тулуза Лотрека и собора, прошли мимо вытянувшегося красивого здания лицея имени Леперуза, остановились на перекрестке улиц, ожидая зеленого света светофора. Машины медленно объезжали темный гранитный памятник, стоявший на высоком постаменте, обрамленном цветочным газоном. Дождавшись зеленого света, мы подошли к памятнику.

Я принялся читать выбитые на граните слова: «Здесь похоронены участники французского сопротивления» Затем шел длинный перечень фамилий. Заканчивался он словами: «Благодарная Франция вечно будет помнить о вас» Фамилии... Фамилии. Десятки французских, две польские, грузинская... Я перечитал ее — Жорж Татарадзе, значит Георгий Татарадзе, адзе, радзе... И я вдруг вспомнил поляка Станислава Красовского из Тулузы, его рассказ о бойцах Сопротивления. Неужели об этом Татарадзе и говорил он. А где другой, темный, упомянутый им? Иван Петровичев, это русский... И тут я замер. Остолбенел. Потом почувствовал гулкие удары сердца. Я протянул руку и ухватился за тебя. Ты тревожно глянул мне в лицо:

— Что с тобой? Тебе плохо?

— Читай! — сказал я, указав взглядом.

— Керим Османов. Ну и что? — Потом ты еще раз повторил, — Керим Османов. Керим Османов?

Мои коллеги окружили нас и спросив, в чем дело, тут же предложили навести справки в муниципалитете. Но там никто ничего не знал о захороненных. Сообщили только, что останки бойцов перевезли в город и похоронили в Альби в сорок пятом году, чуть

позже жители города на свои пожертвования поставили памятник.

Нам предложили разыскать в провинции и в городе участников сопротивления, встретиться с ними. Но... наше пребывание в Альби заканчивалось на следующий день, продлить его было не в наших силах.

Мысли путались в голове.

Ты глядел мне в глаза, мучительно долго читая что-то в моем взгляде, потом спокойно проговорил:

— Будь спокоен, я начну поиски.

49

— Занять оборону! — раздался голос лейтенанта.

Взвод вышел на новые позиции. Предстояли жестокие бои. Фронт, истекая кровью, теряя и людей, и технику, медленно, нехотя откатывался к Волге.

Новый командир взвода был в тодах, угловатый, скуп на похвалу.

— Товарищи бойцы! — Голос у него был сильный, но суховатый. — Нам предстоит отбить танковую атаку. Опыт в уничтожении фашистских танков у вас есть. За нами — Дон. Отступать не велено. А теперь — окапываться.

— Долго будем здесь прохлаждаться? — подал голос Пяччук.

— Пока не получим приказ.

Земля была жирная, лопата входила в нее как в масло.

Симон снял шинель, аккуратно сложил в сторону. Горка земли у его окопа заметно поднималась.

— Зря разделся, сержант, солнце холодное. — Над головой стоял лейтенант. — Ноябрь на дворе. — Он принялся подбивать горку сапогами, утрамбовывая ее. — Держись, сержант, бой будет жаркий.

— Не привыкать, товарищ лейтенант.

Симон подравнял стенки окопа, подтянулся на руках, сел на край окопа, потом поднялся.

— Ну, сержант, твой окоп всем окопам окоп. Вижу, чувствуешь землю.

— Я ведь агроном, товарищ лейтенант.

— Чувствуешь землю. — Лейтенант поднял голову. По синему, холодному небу красивым клином вытянулись журавли. — На юг пошли. А я работал на конном заводе, под Орлом, — неожиданно переменял он тему разговора. — Коней как говорится, выводил в свет, а тут заставили людьми командовать.

Он заомеялся, махнул рукой.

— Что только жизнь не преподносит. Ну, ты заканчивай свой окоп, надо траншеи рыть.

— Все сделаем, будьте спокойны. Только побегу, гляну, как там брат...

Керим сидел на краю окопа, накинув шинель на плечи.

— Как тут у тебя? — спросил Симон.

— Уставать стал быстро... — сказал Керим виновато.

— Надо было в госпитале полечиться, на худой конец в медсанбате, а ты дальше санчасти не был. Не слушаешься брата.

— Доживем до боя, а там видно будет, в медсанбат или госпиталь.

— Типун тебе на язык. — Симон помолчал. — Нам бы рядом воевать, бок о бок, да не получается, брат.

— Слаще такой жизни, где еще может быть? — Керим улыбнулся. — В одной роте, в одном взводе, а ему и этого мало.

— Ты отдохни, я траншею порою.

— Да ты что, ты за кого меня принимаешь... что скажут ребята...

— Ничего не скажут, сиди.

Симон вырыл траншею до соседнего окопа, вернулся, бросил лопату, хлопнул Керима по плечу:

— Не тушуй, брат, и пули не бойся, помнишь, что отец наказывал. Но и себя не подставляй. Побегу рыть свою траншею.

На закате дня бойцы расселись у своих окопов: кто красиво насвистывал, кто зашивал гимнастерку, а кто начищал медали.

— Эй, вы, чудики, что ж вы делаете вы ж наведете фашиста на себя, ну мать честная, чудики да и только. Вы и нас так погубите, — подал голос Пинчук.

— Не бойсь, не дрейфь, он, фашист-то твой, как глянет на блеск-то, и ослепнет. Вот и одного танка нет.

— Почему это фашист мой? Бери его себе на память.

— К слову пришлось. А вот как на память взять — ума не приложу.

— Сразу видать, в школе не учился. Гербарий сделай.

— Чего, чего?

— Гер-ба-рий, чудик.

Громкий смех раскатился над степью.

— Довольно балагурить, — раздался голос Бугаева. — Не уразумею, чего они тянут...

— Кто чего тянет? — опять вклинился Пинчук.

— Да перестань ты, чертов тетерев. — Бугаев замолчал, но снова заговорил: — Чего не начинают атаку...

— Ждут, пока нам кашу принесут, — пояснил Пинчук. — А вот и она, теперь, братцы, ждите атаки...

Спустя несколько минут бойцы молча скребли ложкой по котелку.

— Чайку бы еще и на боковую — сказал Симон.

— Да, чаю бы, — поддержал Бугаев, — эй, кашевар, что это ты сплоховал сегодня?

— Чай в бидоне, пейте, сколько влезет...

Ночь была безлунная. Со стороны Дона веяло холодом. Слышно было, как изредка переговаривались дозорные.

Симон, уютно расположившись в своем окопе, урывками засыпал и снился ему дом, отец Джамал, улыбающийся, в заломленной шапке, надвинутой на глаза, с внуком на коленях, жена с распущенными волосами, сморщенное задумчивое лицо матери, и еще какой-то малюсенький мальчик снился на коленях жены Керима. Кто он, спрашивал себя Симон, просыпаясь, я его никогда не видел... А может, уже родился... Завтра надо рассказать Кериму.

Утром его разбудила тишина. Небо начинало румяниться. Симон выглянул из окопа:

— Керим! — крикнул он громко.

— Что-о-о, Симо-он?

— Ты меня слышишь?

— Если откликнулся — слышу...

Внезапно в тишину стали вплетаться посторонние звуки, потом отчетливо послышался рокот. Симон вытянул голову, вгляделся. По степи ползли танки: один, два, четыре, шесть, семь, — стал считать он и вдруг словно спохватившись, закричал:

— Керим!

— Слушаю.

— Я видел со-о-он.

— Не понял...

— Сон видел.

Снаряд упал недалеко от окопа Симона, засыпав его землей.

— Понял, ну и что?

— Будто родился мальчик...

— Будто что?

Рокот нарастал.

— Будто что? — прорвался сквозь гул голос Керима.

— Мальчик родился... мальчик...

— Тут из окопа в окоп бойцы стали громко передавать друг другу:

— Мальчик родился.

Услышит ли Керим, подумал Симон, но тут все его внимание сосредоточилось на голосе лейтенанта:

— Слушай мою команду, по фашистам пока не стрелять, подпустить поближе, петезры, огонь.

Симон привычно и спокойно нажал на курок.

— Один есть, — сказал он вслух, наводя прицел на другой танк, но в тот момент, когда уже собирался спустить курок, танк стал разворачиваться и все-таки Симон опередил его на долю секунды. Вокруг стоял гул, прохот, лязг, свист, земля дрыглась, но Симон не слышал ничего. Он слился со своим оружием и работал как четко налаженный механизм. Он даже не обратил внимания что танки стали пятиться. Он продолжал стрелять, и очнулся как от наваждения лишь тогда, когда увидел перепрыгивавших через окоп автоматчиков, догонявших фашистов.

Отбив атаку, бойцы принялись искать и раскапывать раненых и убитых. Симон перебежал от окопа к окопу, разыскивая Керима, заглядывал в воронки, но того нигде не было. Ни среди раненых, ни среди убитых. Но куда, куда он мог подеваться? — утомленный боем мозг не давал ему ответа. А может... фашистский танк успел его уничтожить? Бедный мой брат!..

Симон сел на холмик земли и безмолвно уставился на поле боя. Сердце его ныло, но слез не было. Солдаты давно разучились плакать.

Если бы он прошел еще метров пятьдесят в сторону от окопа Керима... Если бы еще метров пятьдесят в сторону...

Но он продолжал сидеть и смотреть на поле боя.

Поле полудня был получен приказ. ночью уходить за Дон.

50

Назым все чаще стал вспоминать брата, «перед взором вставал образ скандального племянника. Конечно, признавался себе Назым, этого молодого человека ничто не роднит с ними, да и я, откровенно говоря, не испытываю к нему родственных чувств, но ведь он — сын моего брата, кровь наша, и должен быть с нами, а не там, где у него нет никого и ничего. Ну и скандалист же, да и дерзок, ему не нужны, видите ли, ни магазин, ни деньги. А что тебе нужно? Остро подвешанный язык? Прокормит он тебя, если карманы пусты, хотел бы я знать. Какой бесшабашный, бестолковый сын у моего брата...

Он пытался вспомнить брата, но годы давно и прочно смыли его образ из памяти. Керим должен быть смуглым, убеждал себя Назым, у него должны быть темные глаза, темные волосы, красивое крупное лицо... Но все, что он ни пытался создать в своем воображении, получалось бледным, безликим, расплывчатым...

Назым наконец отчаялся. Если судить по племяннику, говорил он себе, Керим совершенно не похож на нас... Нет, быть не может того, племянник пошел, очевидно, в мать... Керим должен

быть темноволосым темноглазым, с красивым крупным лицом... Да, да, таким...

И однажды Назым вспомнил далекий сорок третий год, буйную весну, частые выстрелы на улицах Парижа. И того темноволосого, темноглазого мужчину, которого быстро ввела, втолкнула в магазин, заперев за собой дверь, Жаклин.

— Спрячьте его до утра — сказала она, задыхаясь от быстрого бега.

— Зашторь окна, — проговорил Осман. Он встал, медленно перебирая четки подошел к мужчине и, не отрывая взгляда от него, спросил Жаклин: — Кто он, откуда?

— Из плена бежал, русский...

— Ты... русский? — спросил протяжно Осман мужчину.

Тот встрепенулся как — то боязно, бросил короткий, очень короткий взгляд на Османа и низко опустил голову.

Назым подошел к ним близко и стал разглядывать мужчину. Лицо его, крепкое, красивое, было исполосовано шрамами. Густую шевелюру прорезали седые пряди. Ладони изрезаны, почти разбиты. Из — под разорванной рубахи виднелась крепкая грудь. Он стоял у стены в прохудившихся ботинках, в изношенных штанах, опустив голову, и Назым невольно поежился. Но поежился не от вида человека, а от силы духа, которая, казалось исходила от него. Тот стоял как изваяние, как памятник непокорности и Назым вдруг представил почему-то стену коммунаров на Пер — Лашез. Вот так, именно так стояли они, непокорные необоримые коммунары, подумал он про себя. Но этот русский ведь не был на Пер — Лашез, почему он стоит в их позе? Что он себя мнит, по какому праву?

— Ты почему не хочешь говорить? — прервал мысли Назыма Осман. — Ты ведь русский? Я спрашиваю тебя по — русски: откуда ты, из какого города?

Назым отвернулся и отправился за прилавок. Он чувствовал, что отца что-то беспокоит, мучает, иначе он не покинул бы свое кресло и не глядел бы на незнакомца так внимательно, но тот продолжал молчать, опустив взгляд.

— Жаклин, отведи его, пусть умоется, оденется поест, потом проводи в подвал... — сказал Осман и вздохнул, да так, что у Назыма защемило сердце.

Думы о брате не давали Назыму покоя. Ветвь моего дерева, говорил он молча про себя, куда ты делся, где тебя носят ветры, или ты уже высохла? А скандальный племянник в чем-то и прав: что останется со временем у нас, у сына моего, у его детей от Османовского дерева? Ничего не останется. Ничего не останется?

От этих мыслей он все чаще поеживался и хмурился.

В Сорбонне проходил антивоенный митинг. Наша группа журналистов сидела в первом ряду опроменного переполненного зала. На сцену, взятую на прищел телекамерами, выходили молодые люди и говорили, о чем им вздумается. В головах многих перепутались имена и деяния Гитлера и Муссолини, Петэна и де Голя, Черчилля и Трумэна, из выступлений было очевидно, что они не знали да и не хотели знать, кто и почему начал Вторую мировую войну, кто внес исторический вклад в разгром фашизма, какие жертвы понес советский народ в этой страшной схватке. У большинства из них лица светились улыбками, глупыми улыбками, и говорили они о войне с какой-то легкостью, беспечностью, бравадой.

Мне стало не по себе. Слово война, понятие война у нас олицетворение самого страшного зла на земле, а здесь — клоунада. Я представил деревянного клоуна, висящего на ниточках, натянутых между палочками — стойками. Детская игрушка. Как пожелаешь, так и встанет клоун. Все зависит от манипуляций рук.

Ты смотрел на меня, понял мое состояние и попытался успокоить:

— Здесь молодежи более раскованна, свободна и откровенна в своих суждениях и оценках.

Нет, Осман, тут дело не в раскованности и откровенности. Тут речь идет о политической зрелости, о гражданской позиции каждого здравомыслящего человека, о ясном и четком понимании сути вопроса. Этим молодым людям кто-то что-то вразумительное объяснит, но объяснит потом, позже. А почему сейчас не повернуть разговор в русло, нужное нам вместе... Я должен выступить... Я решил...

Дождавшись, когда очередной оратор закончил свою речь, явзбежал на сцену. Тысячи пар глаз уставились на меня. С чего начать, как их наэлектризовать?

Начну со слов:

— Я журналист из Советского Союза.

По залу прошел рожот, что-то раздались аплодисменты.

— Нашу группу любезно пригласили на антивоенный митинг, а до него мы успели посмотреть величественные памятники, воздвигнутые в память о павших и замученных во Второй мировой войне на Мон — Валерьени у Нотр — Дам (не Пари... Франция чит и помнит своих сыновей и дочерей. Пожилые французы, участники Сопротивления, бойцы маки, узники концлагерей помнят и никогда не забудут, что такое фашизм. Может быть, уважаемые профессора помнят, что говорил Гитлер о нас: я напомню: «Народ, который считает Льва Толстого великим писателем, не мо-

жет претендовать на самостоятельное существование». А вот изречение Гаусгофера они должны знать «Зараженная негритянской кровью Франция является чумным очагом в Европе».

Зал замер. Он ждал. В мертвой тишине слышался слабый рокот кинокамеры.

— Еще за два года до Второй мировой войны Гитлер заявил: «Немецкий народ имеет право завоевать Европу и превратить ее в Германскую империю немецкого народа». Но чтобы выполнить программу биологического истребления народов, нужен был размах. И Европа покрылась сетью тюрем, гетто, лагерей принудительного труда и «концентрационных», «фабрик уничтожения». Их общее число в Европе, включая саму Германию, составляло свыше четырнадцати тысяч.

Я, взглядевшись в зал. Он с нетерпением ждал моего слова.

— Освенцим и Бжезинка в Польше. Здесь было заключено более четырех миллионов ни в чем не повинных людей. Погибло более четырех миллионов. Майданек в Польше. Из миллиона пятистот тысяч погибло около миллиона пятистот тысяч. Дахау в Германии. В нем было двести пятьдесят тысяч заключенных, погибло семьдесят тысяч. Флоссенбург в Германии. Из ста одиннадцати тысяч четырехсот заключенных погибло семьдесят четыре тысячи. Натцвейлер во Франции. Из пятидесяти тысяч погибло двадцать пять тысяч. Заксенхаузен, Равенсбрюк, Маутхаузен, Берген-Бельзен, Плашув... Это война. Общее число людей, погибших в местах заключения, не на фронтах, не на поле боя, а в газовых камерах, от побоев, болезней, голода, под опытами гитлеровских врачей, составляет около одиннадцати миллионов человек. Это война, развязанная фашизмом. Ему нужно было подавить сознание человека, сломить волю. В Освенциме в стоячие камеры размером девяносто на девяносто сантиметров узники вползали, как в собачью конуру, через единственное маленькое отверстие над полом. Четыре человека могли стоять, только прижавшись друг к другу. Без воздуха, часто без еды, кто-то умирал, и живые стояли ночью вплотную с мертвыми. Это — тоже война.

Первый опыт массового убийства был произведен на советских военнопленных. Ядовитым газом «Циклон В» отравили сразу шестьсот человек, фамилии их остались неизвестны. Это — тоже война.

Смерть, поставленная на поток, приносила фашистам доходы. Для уничтожения тысячи пятистот человек требовалось шесть — семь килограммов «Циклона В». За 1941-1944 годы в Освенциме было израсходовано двадцать тысяч килограммов «Циклона». За продажу газа фирма «Дегеш» выручила тридцать тысяч марок. Одежда, обувь, белье убитых продавались гражданскому населению или в магазинах по низким ценам. Драгоценности — кольца,

серьги, меха продавались за границу, на вырученные деньги приобреталось сырье для экономики. Пеплом засыпали болота или удобряли поля лагерных хозяйств, на которых росла самая сочная капуста. Волосы убитых, которые сушились на чердаках, продавались десятками тонн текстильным фирмам по полмарки за килограмм. Это — тоже война.

Сегодня можно слышать о несоизмеримости военных потерь Германии — 7 000.000 человек и СССР — 20.000.000 человек. При этом забывают главное — мы воевали против фашистской армии, фашисты истребляли народы. Никто не убивал немецких женщин, стариков и детей. Между тем из 20.000.000 погибших советских людей почти половина — мирные жители, военнопленные. Другая половина — те, кто пал на поле боя, из них миллион сто тысяч сложили голову, освобождая Европу от фашизма. Это — тоже война.

Вспомните слова сына Франции президента Шарля де Голля: «Освенцим. Какая это печаль... Какой ужас... А несмотря на это — какая надежда для человечества.»

Узников Освенцима освободил 460-й стрелковый полк сотой Львовской дивизии, которой командовал молодой командир Магомед Танкаев, горец из Дагестана.

Зал смотрел на меня.

Я не собирался рассказывать о тысячах наших городов, разрушенных до основания, о деревнях, сожженных вместе с населением, о памятниках старины, произведениях искусств, уничтоженных, оскверненных фашизмом, но останки лежащих под памятниками на Пер-Лашез узников концлагерей молча взывают: мы — немые свидетели ужасов войны, поведайте о нас. Я выполняю их просьбу.

Я решительно подошел к микрофону. И обратился к залу. Митинг продолжался.

52

— Задача всем ясна? Расходитесь.

Командир роты поднял красные от недосыпания глаза:

— Лейтенант Джамалов, задержись.

Сидевший на лавке у стены незаметный капитан поднял на Симона глаза и отодвинулся от света.

— Лейтенант, в твой взвод направлен капитан Кауров по особо важному делу. Кто он, откуда — ни один боец не должен знать. Ясно?

— Ясно, товарищ старший лейтенант.

— Если ясно, иди. Он тебя догонит.

Симон вышел из блиндажа и медленно пошел по траншее.

— Пинчук, — окликнул он.

Ответа не последовало.

Было темно, как в печной трубе.

По особо важному делу, вернулся к теме разговора Симон. А что особенного происходит во взводе? Не слышал. Секретная персона. Кто он, откуда — никто не должен знать. Капитан Кауров... Кауров. дай-ка вспомнить... Кауров... Кажется, и в Дербенте был такой Кауров, следователь, к отцу приходил... Он ли? Откуда ему взялся здесь, именно здесь, и мало ли Кауровых по стране...

— А вот и я, — раздался за спиной глухой голос. — Пойдем, что ли?

— Бойца надо бы подождать, за санпакетами отправился.

— Дойдет сам.

— И то верно.

Пошли, но перебирая в памяти события, связанные с тем, дербентским Кауровым, Симон шел задумчиво, забыв ускорить шаг.

— Из каких мест, лейтенант? — раздался за спиной голос.

— Из Дербента. Есть такой город. Не слышали?

— Из истории помню. А так — не довелось бывать. Сам я с Севера. Семья большая?

— Как сказать... Старики, жена, сынишка.

— Это хорошо, что старики есть, я своих давно похоронил. Твой взвод на самом острие, что ли? — резко переменял капитан тему разговора.

— На самом острие.

— До фрицев далеко?

— Рукой подать. Метров сто пятьдесят.

— Близко. Не боишься, что могут получить подкрепление и хлопнуть вас, как клопов?

— В такую ночь? Не решатся. А на рассвете мы их раздавим

Симон почувствовал на шее горячее, прерывистое дыхание, но тут раздался голос Пинчука:

— Товарищ лейтенант, а вот и я, маленько задержался, пока сосчитал, собрал...

Дыхание отдалилось. Кауров чертыхнулся, зло прохрипел:

— Чертов сын, какого хрена на пятки наступаешь...

— Товарищ лейтенант... Это не лейтенант... Кто вы?

— Здесь я, здесь, Пинчук, — быстро отозвался Симон, желая успокоить солдата. — То товарищ капитан, со мной идет, вернее, за мной следует.

— Так я не знал... Извините, товарищ капитан, ночь вон какая, носа своего не видать не то что...

— Придержи язык и толпай, — прервал его капитан. — Немцы в двух шагах, а ты как в своей деревне голосишь.

Несколько минут шли молча.

— Пришли. — Симон остановился. — Проходите, капитан, в землянку.

— Я тут постою, покурю.

— Курить здесь нельзя. В землянке и покурите.

— Вам сказано, здесь постою. Просто постою.

— Слушаюсь.

Симон вошел в землянку, вслед за ним скатился Пинчук.

— Что за тип? — спросил он шепотом у самого уха.

— Не наше дело. Раздай санпакеты и поставь чайник. Может, чаю захочет капитан, да и раненых надо напоить.

Минут десять спустя Симон вышел из землянки, капитана в траншее не было. Симон осторожно пошел в темноте, тихо окликнул капитана. Ответа не было.

— Пинчук!

— Я здесь.

— Быстро к дозору, но смотри у меня, чтобы ящерица не услышала тебя, спроси, не случилось ли что, да и проверишь, не спит ли он...

Пинчук вернулся скоро, запыхавшийся от быстрого бега.

— Все гут! Тихо, спокойно, без происшествий.

Уставившись в непроглядную тьму, Симон с минуту задумался, потом спустился в землянку, подошел к связисту.

— Набери командира роты... Товарищ старший лейтенант, Джамалов у телефона. Гость исчез.

В трубке запрещало, заскрипело, потом старший лейтенант тихим ровным голосом спросил:

— Какой гость?

— Капитан Кауров.

— Как исчез? — донеслось тихо, и вдруг крик оглушил Симона:

— Что ты мелешь, лейтенант, рассекречиваешь доверенное тебе лицо...

— Какие тут секреты, если он исчез...

— Пропал? Растяпа...

— Не пропал, а исчез, на нашем участке не было ни единого выстрела. Ни с нашей, ни с немецкой стороны.

— Лазутчики не могли увести?

— Нет, ребята бдительны, и дозор не спит...

— Не хватало еще, чтобы дозор уснул. Найти, отыскать, лейтенант, слышишь, о-тыс-кать!..

— Где искать, если темно, как в печной трубе.

Трубка затлохла. После минутного треска и пощелкивания донеслось:

1 Гут — хорошо (немец яз.).

— Что мне отвечать штабу полка?

— Я сам отвечу и комбату, и штабу полка, валите на меня...

— Что это ты так осмелел?

— Не в смелости дело, товарищ старший лейтенант, просто, мне кажется, я его знаю. С наилучшей стороны...

— Кажется... знаю! Что ты мелешь...

— Не кричите, товарищ старший лейтенант. Я думаю, что он перебежал к немцам.

Молчание в трубке длилось долго.

— Сам пойдешь в штаб полка. Или погоди. Вместе пойдём.

— Завтра после боя и пойдём.

Симон бросил трубку. Но не успел сделать и шагу, как покрылся испариной:

— Соедини с ротным, быстро. Товарищ старший лейтенант, Джамалов говорит. Кауров слышал у вас в блиндаже о начале боя?

— Опять Кауров... Ну и что?

— И у меня выпрашивал. И все уточнял, в какой стороне немцы. Нельзя начинать операцию, провалим, и людей погубим зря.

— Ну, это ты хватил через край, — произнес, растягивая слова, старший лейтенант, но чувствовалось, что он задумался. — А если Кауров не перебежал, кому краснеть?

— А если перебежал?

— Свяжусь с комбатом. Жди вбучки.

Время тянулось мучительно долго. Симон нервно ходил по землянке и чертыхался в адрес Каурова. Надо же было явиться именно перед операцией.

Зазвонил телефон. Симон схватил трубку.

— Начинаем часом раньше намеченного.

— Все ясно. Ругали?

— Как ты думаешь? Будут разбираться? После боя вызываю нас вдвоем.

Трубка умолкла. Симон вышел из землянки. Часом раньше намеченного, повторил он про себя. Только успеет забрезжить рассвет.

И он быстро пошел по траншее отдавать новые распоряжения.

53

Керим лежал среди рулонов мануфактуры и ковров, вдыхал запах ситца, шелка, шерсти с пылью, и все думал, думал, не находя ответов на нахлынувшие вопросы.

Неужели этот человек мой отец размышлял он, не может быть, откуда ему здесь взяться, здесь, в Париже. Мой отец... и здесь, в Париже... Невероятно. Но ведь рассказывал отец Джамал, не раз рассказывал, как Илдириим сорвал их с родной земли, страхом,

угрозами сорвал, и уехали они в Иран. Но как они оказались здесь, в Париже!.. И отец ли... уж очень он не похож на того, которого я знал. А как ему быть тем, которого я знал, когда прошло двадцать пять лет. Двадцать пять лет... Эта шапка, неизменная каракулевая шапка, и это удлинненное лицо, и взгляд. Но у отца не было ни усов, ни бородки. Ну и что ж, он мог их отрастить здесь. Как он смотрел на меня! Все пытался, чтоб я заговорил с ним... Но зачем, зачем обнадеживать старика, мне так или иначе уходить... Что я говорю, я рассуждаю, словно он мой отец, будто я уже установил наше родство. А ведь я устанавливаю, если взгляну на мать, на его жену. Есть ли она у него, жива ли... Нет, нет, не надо, если она окажется матерью моей, не перенесет моего ухода... Мне надо уйти, необходимо уйти. Они рискуют жизнью, скрывая меня здесь, кто бы ни были: родные мне, чужие...

Мысли путались в голове, мучали, терзали его.

Как хотелось ему уйти отсюда, исчезнуть, только бы не быть здесь, не видеть еще раз лица старика.

И вдруг страшное наваждение, рожденное хаосом вопросов, оползло с него, как тяжелая, пропитанная ледяною речною водою шинель, и стало удивительно покойно, как бывало после артобстрела, когда осядет земля и впереди покажутся цели.

Он успокоился от внезапно пришедшей мысли: «Завтра спрошу у Жаклин... Она должна знать...»

Он вытянул ноги, закрыл глаза.

Как долго был его путь сюда, на Бульвар Османа, в подвал, набитый мануфактурой, коврами, антиквариатом. А начался он с того броска, когда заклинило противотанковое ружье.

Керим не слышал рева танка, который стремительно мчался в его сторону, потому что вокруг стоял один сплошной рев, гул, свист. Он видел только танк, неумолимо, беспрепятственно приближавшийся к нему, наведя на него ствол. Он отбросил ружье, схватил две связки гранат и пополз в сторону, вправо, уходя из-под лобового удара. Его засыпало землей, над ним свистели пули, ему преграждали путь тела товарищей, глаза застилала песок, пороховой дым, пот, а он полз фанатично и упорно вперед. Инстинктивно поднимая голову, он увидел танк в десяти метрах. Не упустить бы, не упустить, мелькнуло в голове и, приподнявшись, вобрав голову в плечи, он швырнул одну связку, потом перехватив правой рукой из левой — другую, увидел вспышки огня, потом что-то тяжелое со свистом ухнуло в землю ослепив его, и он рухнул.

Он пришел в себя от треска автоматных очередей, потрянул головой, протер глаза, тяжело поднял тело и сел. Немецкие солдаты пристреливали раненых. Как же так, ужаснулся он, мы же их били, вон сколько танков искорежено, уперлись стволами в

землю, как же так... Потом отрешенно, безучастно, как на что-то пустое, взглянул на подошедшего немецкого автоматчика и опустил голову.

Потом в колонне военнопленных он шел по пыльной дороге, упивался чистым, свежим воздухом и тишиной, которая то и дело прерывалась короткими автоматными очередями. Он знал, убивали обессиленных.

Вечером остановились на покинутом хуторе. Он опустился на копну соломы, запахнул шинель, закрыл глаза. Проснулся внезапно, от острого ощущения голода, глянул в небо — оно было высвечено яркими звездами, потом перевернулся и лег на живот, вздыхая запах соломы. Запустив руки в копну, он принялся машинально перебирать сухие шершавые стебли, нашупал колосок, осторожно вытащил его, очистил зерна, выложил на ладонь, по-луп на них и высыпал в рот.

Кто-то рядом застонал. Во сне? Или от боли? Керим придвинулся к соседу, взгляделся в лицо. Лейтенант? Да, это был командир взвода. Керим окликнул его шепотом:

— Товарищ лейтенант.

Тот приподнялся, сел, озираясь.

— Это я вас разбудил, товарищ лейтенант... Османов.

— Я тебя давно приметил, — сказал лейтенант хрипло. — Будем держаться вместе. Своих отыскивай в колонне.

Керим снова запустил руки в копну, собрал пригоршню ржи и протянул лейтенанту:

— Ешьте.

— Что это?

Он подставил ладонь, через минуту живо спросил:

— Еще есть?

— Сейчас добудем.

— А знаешь... — лейтенант задумался, — если сумеешь, собери побольше, только осторожно, чтобы фрицы не заметили.

Утром колонна двинулась в путь. Опять была длинная степная дорога, и короткие выстрелы... В полдень к ним присоединилась другая колонна. Вечером они вышли изможденные к железнодорожной станции, забитой военнопленными.

Ночь Керим и лейтенант провели сидя в полудреме, под звездным небом, прислонившись спиной к деревянной стене здания железнодорожного вокзала. Было около полуночи, когда Керим тронул лейтенанта осторожно за руку и протянул пригоршню ржи.

— Приберег бы, — сказал тот, пересыпая себе в ладонь. — Кто знает, куда нас погонят...

— На завтра силы нужны, — заметил Керим.

И оба принялись медленно жевать.

Утром всех выстроили. Крепко державшихся на ногах согнали в один конец станции, слабых — в другой. Керим и лейтенант не отрывались друг от друга, если кто-то из солдат и пытался ненадолго, случайно пройти между ними, они плотно прижимались плечами.

Наконец, их загнали в вагон, закрыли двери, задвинули засовы, и поезд тронулся.

В вагоне, в котором сказались Керим и лейтенант, было грязно, странный, тяжелый запах вызывал тошноту. То был трупный запах. Лейтенант велел солдатам отойти от окошка, чтоб проветрился вагон, и прошел в угол, к Кериму. Они сделали себе подстилку из соломы — и здесь судьба смилостивилась над ними, — и сели каждый думать свою думу.

— Что будем делать, лейтенант? — раздался вдруг довольно сильный голос.

Лейтенант молчал.

— Я к тебе обращаюсь, лейтенант, что будем делать? Да, да, к тебе...

— Не знаю. Я здесь не командир, — отрезал лейтенант.

— Как же так? Ты здесь старший по званию, ты и командуй. Так что будем делать?

— А что ты хочешь делать? Стены грызть? Приедем — подумаем.

— Приедем!.. — зло съехидничал тот же голос. — Куда приедем? В концлагерь? Или фрицам заводы строить?

— Вот там и подумаем, — повторил лейтенант, и тихо, очень тихо, чтобы расслышал только Керим, проговорил: — Осторожность нужна: чтобы спасти свою шкуру, могут выдать.

Керим удивленно взглянул на него.

— Я не говорю, что именно он. Может, он и на самом деле парень смелый, рискованный, а в вагоне во-о-он сколько, кто-то слабый духом не выдержит, продаст и всем в награду за смелость — короткая автоматная очередь...

Некоторое время солдаты молчали, но естественное желание человеческого общения заставило их заговорить, они стали называть свою часть, свой город или деревню, откуда были призваны в армию, и пошли разговоры, шутки, прибаутки, а кто-то в полголоса запел, и многие, слушая его, притихли. А поезд громыхал по рельсам без остановок, и в окошко, оплетенное колючей проволокой, врывался ранний ноябрьский ветер, напоенный степными запахами. Поздно вечером поезд остановился на какой-то станции и простоял около двух часов и многим уже казалось, что эта станция для них — последняя, но завыл паровоз, вагоны дрогнули, и снова монотонный перестук колес на стыках рельсов отвлекал их от тяжелых мыслей и дум.

Ночью Керим и лейтенант пожевали по пригоршне ржи и уснули.

На следующий день, когда поезд остановился на крупном железнодорожном узле, далеко от вокзала, загремели засовы, с прохотом открылась дверь и двое дюжих немецких солдат подняли на руках в вагон большой бидон, бросили дюжину ложек, и изображая на лице довольную улыбку, крикнули:

— Быстро.

Солдаты набросились было на бидон, но лейтенант властным окриком остановил их:

— Стыдно, вы же не животные... Дайте ложки слабым, остальные подождут... И не наедайтесь, не то изойдете поносом. Кто-то должен следить за порядком... Кто?

— Я, лейтенант... — отозвался голос, призывавший к действию.

К бидону вышел среднего роста крепко сбитый парень. Ему можно было бы дать лет двадцать — двадцать два, если бы не седые пряди волос и не обгорелые подбородок и левая щека.

— Ну-ка, ребята, становитесь в круг, берите ложки и ешьте, пока я не остановлю. Быстрее, вон нас сколько еще, не нравится, а вы думали вам куриный бульон притащили фрицы, или борщ московский?.. Ешьте, желудок погрейте...

Керим, лейтенант и обгорелый ели последними.

— Пойло, — коротко сказал обгорелый, — а есть надо.

В теплой воде, пропахшей гнилью, плавала квашенная капуста и брюква.

— Чтобы с голоду не подохли, — словно поясняя себе, проворчал обгорелый.

Немцы стащили бидон, забрали ложки, закрыли дверь, и вокре состав тронулся.

На следующий день на железнодорожном узле, оказавшемся Оршей, один из военнопленных, глядевший в окошко, услышал из уст пробежавшего немецкого офицера слова: «Равенсбрюк», «Дахау». Значит, туда, решили все, в Равенсбрюк или Дахау. Далековато. И опять покатило состав, и в окошко врывались чужие ветры, чужие запахи.

Под утро Керим проснулся от тишины. Неестественной тишины. Он подошел к окошку. Брезжил рассвет. Снаружи переговаривались немцы, часто произнося «Маутхаузен». Тихо подошел лейтенант, прислушался, чуть слышно пробурчал:

— Теперь Маутхаузен. Так пол-Европы проедем, пока не сдохнем с голоду.

Керим протянул ему горстку ржи. — Я не ради этого говорил, — произнес лейтенант, но зерна отправил в рот.

Принялся жевать и Керим.

— Так и будем сидеть, пока нас где-нибудь не ухлопают? — спросил он.

— Я вот и думаю, что делать, как выбраться отсюда.

Наконец, состав вздропнул, опять монотонно застучали колеса. Подошел и присел обгорелый:

— Лейтенант, пора, иначе подохнем.

— Танкист? — спросил лейтенант.

— Сам видишь.

— Вижу. И думаю. Что ты предлагаешь?

— И сам не знаю, ни ножа, ни финки...

— Будем думать, — сказал лейтенант.

— Пока не подохнем?

— Время есть, будем думать.

В конце дня на большой стоянке снова принесли бидон похлебки. Обгорелый, наблюдая за порядком, бросил хитроватый взгляд на охранников, кивнул в сторону путей:

— Маутхаузен?

Один из них растянул в улыбке рот до ушей.

— Я, я, Натцвейлер.

Когда немцы закрыли дверь, обгорелый подсел к лейтенанту.

— Слышал, куда нас гонят. В какой-то Натцвейлер.

— Мне это ни о чем не говорит. Только чувствую я, далековато едем.

Они не знали, да и откуда им было знать, что этот концлагерь находился во Франции.

— Ну, ты надумал что-нибудь? — спросил лейтенант.

— Ни черта не идет в голову... Может... в следующий обед выскочим из вагона и кто-куда, — оживился обгорелый.

— И перебьют, как цыплят, — подытожил лейтенант. — Вот что сделаем... Ночью, если поезд остановится, устроим драку, драку среди своих, шумную возню. Наши фрицы подойдут обязательно. Как только откроется дверь... кто у нас здоровые, ты, подбери еще одного — ударами кулаков оглушаете фрицев, другие быстро за-таскивают их в вагон и закрывают дверь. Нам должны помочь две случайности, чтобы остановился поезд, и чтобы к вагону кроме наших двоих фрицев никто другой не подходил.

— Голова, — протянул обгорелый. — А дальше?

— А что дальше — потом скажу.

С вечера ни один не сомкнул глаз. Все настороженно ждали. В полночь, когда остановился поезд, ребята начали потасовку. Звякнули засовы, отодвинулась дверь и в проеме показалась голова фрица, обгорелый обрушил на нее свой тяжелый кулак, две пары крепких рук втащили его в вагон, а несколько пар быстро закрыли дверь. Некоторое время было тихо, потом второй фриц

стал окликать напарника, но тут загудел паровоз и состав тронулся с места. Обгорелый протянул лейтенанту автомат немца:

— Держи, командир.

— Что еще?

— Несколько плиток шоколада, консервы, сало, галетное печенье... А самого ребятам нечаянно придушили. Сейчас и не выяснишь, кто.

— Теперь слушайте меня, — повысил голос лейтенант. — Шоколад, печенье, консервы и сало самым слабым. Как только поезд замедлит ход, на подъеме или крутом повороте, только не у станции, выпрыгиваем, по одному, без крика и шума, уходим тоже по одному, места незнакомые, чужие. Чем нас встретит завтрашний день, не знаю, а уходить надо. Может, посчастливится пристать к вооруженным отрядам. Тоже неплохо. Последним уйду я. — Лейтенант взглянул на Керима. — Вместе уйдем.

Все притихли, ждали момента. Опустя час паровоз тяжело запыхтел: состав поднимался в гору.

Лейтенант подошел к дверям:

— Откройте, тихо, довольно. Пошли, ребята. По одному. Сразу с земли не подниматься, дайте составу уйти.

Было ли кому больно, удачно ли приземлялись — ни вскрика, ни вдоха.

Вагон опустел, когда Керим подошел к двери.

— Пошел, я за тобой, — сказал лейтенант.

Керим сильно и далеко отпрыгнул, сложился в падении и упал, шлепнувшись в какую-то жижу. Чуть не захлебнувшись водой и не задохнувшись от вони, он привстал, но ноги стали уходить вниз, утопать, их словно что-то засасывало. Вода была уже по пояс, а он все продолжал проваливаться. Тону, отрешенно, совершенно без страха подумал он. Надо же такому случиться, убежать из плена и утонуть в болоте. А ночь какая темная.

Он стал шарить глазами, вгляделся, приметил справа над головой разлапистые тени. Наконец, изловчившись, сделал попытку подпрыгнуть, резко выбросил руку. И ухватился за сук. Потом он попытался ухватиться и левой рукой. Это ему удалось. Наконец, вытащив ноги из трясины, он глубоко задышал и пошел, пригнувшись, к железнодорожному полотну.

Когда Керим опустился, обессилевший, на сухую землю, состав уже ушел. Вокруг была ночь, тишину нарушали неясные звуки, напоминавшие чавканье. Газы, подумал Керим, болотные газы... Еще бы немного и я задохнулся...

И тут он вспомнил о лейтенанте. Где он, куда подевался? Мы должны были встретиться, он прыгнул, должен был прыгнуть вслед за мной... А что, если он искал меня, когда я торчал в тря-

сине. Может случиться и так... И так? А иначе как? Упал в болото, захлебнулся или засосало?

По спине Керима впервые за долгие дни плена пробежали мурашки. Он чутко прислушался — ни шороха, ни движения, потом встал и пошел вдоль железнодорожного полотна вперед, вслед ушедшему поезду; по левую сторону было болото, о правой он почему-то и не вспомнил.

Уже на рассвете Керим машинально перешел железнодорожное полотно и пошел от него прочь, взбираясь в тору, покрытую густым лесом. Его лихорадило и тошнило. Болотный газ забился в торле, сдерживал дыхание. Он шел покачиваясь, как во сне, ноги еле держали его. Наконец, его вырвало, и так сильно, что он дико закричал от боли, потом еще, и еще и наконец упал. И потерял сознание.

Придя в себя, Керим не мог понять, где находится: взгляд его уперся в бревенчатую стену. Чуть приподнявшись и оглядевшись, он сообразил, что лежит в небольшой хижине, на подстилке из соломы. Тошнота не проходила. Его опять вырвало, но в голодном желудке было пусто, и только судорожная боль прошивала живот. Изможденный тошнотой и болью, он забылся сном.

Керим проснулся от неясного голоса. Перед ним сидела пожилая женщина с кринкой молока. Она что-то сказала ему, протянув кринку, но он не понял языка, потом заставил себя прислушаться, и догадался, что он уже говорит на другом языке. А на каком мне с ней говорить, подумал Керим, принимая кринку. Он отпил молоко, сделал еще глоток, почувствовал облегчение, спросил коротко:

— Дойче?

— Найн — быстро ответила она, — аустрия.

Куда меня занесло, подумал Керим, отпивая из кринки.

Женщина снова принялась что-то выспрашивать у него, указывая в грудь пальцем.

— Русский, — как-то машинально сказал Керим.

— Русниши?! — Она приложила руки к щекам и покачала головой.

Наверное, сокрушается, как далеко меня занесло, подумал про себя Керим и впервые за все эти дни улыбнулся.

Женщина опять что-то ему говорила, а он ее не понимал, наконец, она открыла дверь и, показав на лес, на волю пригрозила пальцем:

— Найн.

И он понял, что выходить нельзя,

Женщина несколько дней поила его молоком и кормила сырами яйцами. На пятый день она принесла ему вареную баранину, овечьего сыра и бутылку вина, села в угол и долго глядела, как он

ел. Потом стала говорить, показывая на живот и горло. Спрашивает, не болит ли, сообразил Керим, и благодарно проговорил:

— Найн.

— Гут. — Женщина опять затараторила по-австрийски, затем отчаявшись, что он не понимает, махнула рукой и пошла из хижины.

Через два дня рано утром она привела двух молодых крепких парней, которые увели Керима с собой. Прощаясь с женщиной, Керим низко поклонился и поцеловал ей руки. До самого вечера карабкались они по зеленым кручам, пока не оказались в лесере, где была база небольшого отряда антифашистов. Отсюда советских и других военнопленных переправляли на юг Франции, в маки. Здесь Керим познакомился с летчиком Петровичевым и танкистом Татарадзе, которые бежали из концлагеря. Через неделю Петровичева и Татарадзе отправляли в маки, а чуть позже и его...

Люк открылся, в подвал спустилась Жаклин, вслед за ней двое парней.

— Как спалось? — спросила Жаклин, помогая себе жестикуляцией, чтобы Керим понял.

— Гут... — воскликнул Керим, подняв большой палец. — Хорошо.

— Ка-ра-шо, — повторила Жаклин и все засмеялись.

Потом парни завернули его в мануфактуру, скатали в рулон, вынесли из магазина и положили в закрытый кузов машины.

Было раннее утро. Осман глядел из-за портьеры, как парни грузят в машину товары, потом, не оборачиваясь к Назыму, сказал:

— Рискуете...

— Нам бы из Парижа выехать, а там уже не страшно.

— Ну что ж, сын, отправляйся, да смотри, чтоб кампаньоны наши не обманули тебя, бери то, что имеет спрос в Париже. Ну ты в этом разбираешься не хуже меня. — Он замолчал, потом тихо произнес: — Берегите молчуна. Довезите, куда надо.

Он снова замолчал. И вдруг протяжный долгий вздох вырвался из его груди.

54

Тот день я не забуду никогда. Не должен его забыть и ты.

Было пасмурно и серо, когда наша группа журналистов подошла к небольшому старому дому, который стоял на узкой улочке Мари-Роз. На фасаде была установлена мемориальная доска с барельефом В. И. Ленина. По узкой лестнице мы поднялись в квартиру-музей. Небольшие, словно игрушечные, комнатки

сверкали чистотой. На стеллажах и столах лежали подарки и сувениры от советских туристов.

Ты был с нами, Осман. Мне было как-то легко, радостно от чувства, что ты был с нами.

Нас тепло встретил хранитель квартиры — музея. Он с удовольствием повел нас по квартире, рассказывая о годах жизни В. И. Ленина в Париже, о большой любви к нему пролетариата Франции. Мы узнали, что мемориальная доска на фасаде дома установлена была еще в 1945 году. Музей открыт в 1967 году, а уже в 1972 году компартия Франции приобрела всю квартиру и сделала ее своей собственностью. Состояла она из рабочего кабинета Владимира Ильича, спальни, которую он занимал вместе с Надеждой Константиновной, комнаты матери Крупской и кухни. Кухня была любимым местом сбора их близких, знакомых и друзей: Орджоникидзе, Камо, Бонч — Бруевича и других.

Алексей Максимович Горький называл крошечную квартиру из трех комнат «Студенческой». Одна из них — кабинет — выходила окнами на улицу, другая, которую занимала мать Надежды Константиновны — во двор. Средняя комната — без окон, отделенная от кабинета стеклянной дверью, служила спальней. С большим усердием Андре Лежандр постарался воссоздать обстановку, в которой жили Ульяновы.

В декабре 1972 года, квартира, которую занимал в начале века В. И. Ленин, была объединена с соседней, где компартия Франции устроила экспозицию посвященную жизни, революционной деятельности Ленина и его произведениям. Пребывание Владимира Ильича во Франции разделено на исторические периоды, наиболее значителен период пребывания в Париже, откуда он руководил революционным движением в России.

В. И. Ленин в Париж приехал из Женевы в декабре 1908 года. Сначала он остановился у своей сестры Марии, которая жила в доме № 27 на бульваре Сен — Марсель, затем в январе 1909 года на улице Бонье в доме № 24. В июле переехал на улицу Мари — Роз, дом 4, в четырнадцатом округе Парижа. В этой квартире он прожил три года, вплоть до отъезда в Польшу.

Мы с огромным вниманием слушали хранителя дома-музея, с сердечной теплотой рассказывавшего о годах, проведенных Владимиром Ильичем в Париже, об организованной им в Лонжюмо школе Российской социал-демократической рабочей партии; о газетах «Пролетарий», «Социал-демократ», брошюрах и листовках, которые печатались в доме № 110 на авеню д'Орлеан (сейчас авеню генерала Леклерка) и нелегально ввозились в Россию: о вкладе Ленина в развитие рабочего движения во Франции.

Потом мы осматривали подарки музею и сувениры, перелистывали книгу отзывов... Она была заполнена благодарственными

записями советских туристов и членов различных делегаций из Москвы и Ленинграда, Киева и Баку, Белоруссии Средней Азии, Крыма, Поволжья. Они сердечно благодарили французских коммунистов за бережное сохранение квартиры Владимира Ильича, выражали теплые чувства дружбы французскому пролетариату, компартии.

Я попросил хранителя музея рассказать о том, как он сумел сохранить эту квартиру для истории. Он мягко улыбнулся и рассказал, что создателем музея был коммунист Андре Лежандр.

Внук и сын столяра, он родился в деревне под Верденом. Рано потеряв родителей, в 1921 году приехал в Париж, вступил в профсоюз, а в 1928 стал членом французской коммунистической партии. Занимаясь комитетами помощи безработным, распространял «Юманите» — газету компартии.

За политическую деятельность Андре Лежандра увольняли с работы, заносили даже в черный список, затем он с женой вынужден был перейти на челепальное положение. Все годы войны супруги Лежандр активно участвовали в движении Сопротивления, а когда в августе сорок четвертого в Париже вспыхнуло восстание, он вместе с другими коммунистами сражался на его улицах.

После войны его направили работать библиотекарем в ЦК партии, потом он перешел в институт имени Мориса Тереза. В 1955 году партия поручила ему создать музей в квартире В. И. Ленина. Эта высочайшая миссия стала главным делом его жизни.

Когда мы выходили из подъезда дома, выглянуло солнце, и золотые снопы света упали на фасад здания, на мемориальную доску с барельефом Владимира Ильича Ленина.

55

Проваливаясь в глубокий снег, Симон бежал со своим взводом вперед. С левого фланга, с правого и дальше, дальше бежали солдаты.

Оглушительное, раскаистое «ура», в котором слышались и пронзительная боль, и безмерная радость, и неистребимая воля к победе, гремело, над морозной степью. Крик, вырывавшийся из тысяч глоток, скатывался в валы и устремлялся вперед, обрушиваясь на стылую землю, уносясь со страшной силой все дальше и дальше к горизонту. И не было в этой массе людей человека, который замедлил бы шаг, застегнул шинель, почувствовал боль под лопаткой... Встречный вихрь был бы бессилен остановить их.

— Ура-а... а-а-а... а-а-а...

Степь дрожала от неистовой силы крика, плотные тяжелые тучи в испуге отрывались от неба, оставляя ему серо-белые лох-

моть и в зияющие прорехи устремились золотые снопы солнечного света, холодного и ослепительного.

— А-а-а... а-а-а...

Валы, рождаемые в охрипших глотках, наглотавшихся за долгие месяцы войны и порохового дыма, и речной воды на переправах, и упреков женщин, оставшихся с малыми детьми и стариками там, на оккупированной родной земле, грозно, яростно и неумолчно катили вперед... вперед...

— А-а-а... а-а-а...

Симон бежал, проваливаясь в глубокий снег. Иногда сапоги увязали по колено и приходилось чуть ли не ложиться, чтобы вытянуть одну и другую ноги, сердце гулко стучало в груди, тело разогрелось и пот выступал на лбу, казалось, нет, не должно быть больше сил, чтобы продолжить этот неистовый бег, ноги отваливаются от тела и в трудь больно врезаются десятки ножей, а Симон бежал, как тысячи ему подобных и не было, которая остановила бы их.

Впереди, на горизонте, наконец показались маленькие темные точки, они увеличивались с каждой минутой, становились все более различимы, четки и отпуда, уже от них покотился неукротимый шквал победного крика:

— А-а-а... а-а-а...

И вот он схлестнулся и взметнулся к небу, окатив рвущихся, устремленных друг к другу людей, тысячи людей, которые добегали друг до друга и бросились в объятия.

Кольцо вокруг армии Паулюса замкнулось.

Симон обнял солдата, от которого пахло крепким потом и махоркой, прижался губами к его соленым губам, выпустил, не успев сделать несколько шагов, как увидел бежавшего навстречу с распростертыми руками бойца: так безгранична и беспредельна была радость уставших от войны людей. Они крепко обнялись: не было уже сил разнять руки и бежать дальше. Наконец, они оторвались друг от друга, подняли глаза и обомлели:

— Гаврил, брат?!

— Симон?!

— И не спрашивая ни о чем, не веря себе и боясь потерять друг друга, снова крепко обнялись.

А вокруг ликовали солдаты и разряжали автоматы в искрившееся небо, будто не было разрывов снарядов, не умирали товарищи на кровавом снегу.

Завтракали молча. Осман был задумчив.

На рассвете его дом покинули несколько мужчин, увела их Жаклин.

Осман хорошо запомнил их лица, потому что теперь он внимательно разглядывал каждого, искал только ему знакомые выражения и черты. Один из его последних постояльцев оказался русским, он не назвал ни имени своего, ни фамилии, ни города, просто упрямо произнес: русский, как будто это слово объясняло все за себя. Но другой, черноглазый, с волнистыми волосами, оказался разговорчивым.

— Из Душетии я, — удовлетворил он любопытство Османа. — Вы не знаете Душетии, откуда вам ее знать... Если на земле кроме ада существует еще рай, это моя Душетия...

И он принялся тихо петь протяжную грузинскую песню.

Слушая его, Осман вспоминал горы, исхоженные дороги и тропы, молчаливые леса, ютившие хаспушев, родники Кайтага и водопады Табасарана и мягкое нежное тепло тихо, незаметно обволокло его. Османа вернула к действительности знакомая мелодия, до боли знакомая. Он закрыл глаза, чтобы не выдать своего состояния, и тихо спросил;

— Что ты поешь и о чем поешь?

Мелодия повисла в воздухе, исчезла.

— Это азербайджанская песня, — сказал грузин. — Ее поют все на Кавказе. Потому что она красивая и умная песня. И слова у нее душевные такие. — Улицы я полил водой, чтобы не было пыли, когда дорога придет ко мне. Самовар наполнил водой, и в блюдечко наколол сахар. Душа моя устала от ожидания, глаза мои утомились глядеть на дорогу, где же ты, сердце мое...

Глаза Османа увлажнились, он отвернулся...

... Завтрак подходил к концу, когда Осман бросил взгляд на Назыма:

— Тебе нравится Жаклин?

Назым опустил голову и уставился глазами в тарелку.

— Что ты зарделся, как девица? Это она должна краснеть, ты — мужчина... Жаклин хорошая девушка, и красивая, и смелая. Дай бог, останемся живы, справим свадьбу.

— Что ты говоришь, Осман, — безропотно и тихо произнесла жена. — Твои ли уста произносят такое!

— Мои уста, жена, мои... Где нам найти в этом бешеном городе свою, и есть ли она. А годы идут, еще свяжется с какой-нибудь потаскухой. Жаклин — девушка серьезная и честная. Ну чем не невестка нам, чем не пара Назыму! Будь я молодым — не упустил

бы. Так и поступим, жена, останемся живы, справим свадьбу, не даст нам твой всевышний здоровья — сами поженятся.

— Сеттерхан нам сможет помочь, — робко подсказала жена. — Он не откажет подыскать невестку.

Осман задумался, потом проговорил:

— Помочь-то поможет, да кто знает, что это за девица будет. Не дай бог, достанется такая, что и меня и Назыма по миру пустит. Нет, жена. Вспомни, что наши отцы и матери говорили: бери в невестки дочку своего соседа. Мы такую нашли...

После завтрака Назым спустился открывать магазин, Осман прошел в свою комнату. Здесь, между плюшевым диваном терракотового цвета и темным секретером ручной работы, на высоком столике с изогнутыми ножками стоял приемник. Осман сел в высокое деревянное резное кресло с полумягким сиденьем, включил приемник. Эфир был засорен шумами. Убавив звук, Осман принялся осторожно, даже с какой-то опаской крутить регулятор. Тоненькая палочка на волновой шкале ползла очень медленно. Наконец, Осман уловил, то, что искал. Он откинулся на спинку кресла и долго и терпеливо просидел в ожидании.

Послышались неясные музыкальные ноты, позывные радиостанций, голоса, перекрывающие друг друга и вдруг спокойный, уверенный голос, заглушая все остальные, четко выделяя каждое слово, произнес:

— От Советского информбюро... Сегодня войска...

Свист и шум несколькими накатами заглушили голос, утопили в пучине эфира, но он снова выплыл из глубины.

— Под Сталинградом окружили трехсоттридцатитысячную армию фельдмаршала фон Паулюса...

И снова эфир ответил треском и свистом, но голос упорно выплывал из мрака, хаоса звуков, небытия:

— Враг капитулировал.

Внезапно все другие звуки, голоса, шорохи, наводняющие эфир, замерли. Замерли перед потрясающей новостью, которую ждал мир: Сталинград выстоял. Сталинград победил.

Волна неумемной радости, беспредельного счастья, ликования зародилась в груди Османа, подкатила к горлу, вызвала слезы на глазах, и неподдельную, ни с чем не объяснимую улыбку на старческом лице.

— Слава вам, люди, и низкий поклон, — прошептал он еле слышно. — Мой город спасен.

Осман свесил голову на грудь, закрыл глаза. И умер. Вечером ему исполнилось бы семьдесят три года.

Твердый и уверенный голос продолжал возвещать миру о победе Советской Армии под Сталинградом.

— Я вспоминаю Версальский дворец.

Был изумительный солнечный день. Мы ехали в Версаль, городок под Парижем. Ты неотступно следовал за нами на своей машине. Мы долго знакомились с мемориалом на Мон — Валерьен, воздвигнутым в память о четырех с половиной тысячах бойцов французского Сопротивления, расстрелянных гитлеровцами. Он был поистине грандиозен, впечатляющ и прекрасен. Огромное поле с высеченными именами на гранитных плитах, пантеон с опущенными национальными флагами над гробами участников Сопротивления оказывали ненизглядимое впечатление. Осматривая мемориал, я вспомнил другой памятник, поставленный благородной Францией своим сынам и дочерям, погибшим во Второй мировой войне. Это была забетонированная, выложенная плитами яма, воссоздававшая земляную яму, в которой расстреливали людей: от нее в глубь земли уходил тоннель, обе стенки туннеля были расщеплены сгоньками. Их было ровно столько, сколько французов уничтожили гитлеровские фашисты в концлагерях. Двести тысяч отоньков!

Потом был Версаль, уютный городок с аккуратными длинными теннистыми улицами, небольшими живописными домами, дорогами мощенными гранитом, и привольно раскинувшийся дворец, тельная панорама: широко и правильно раскинувшийся дворец, охваченный литой чугунной оградой, и огромная площадь перед ним, запруженная многотысячной толпой, сотнями торговцев, автобусами и легковыми машинами различных марок. Люди из десятков и десятков стран приезжали сюда, чтобы насладиться искусством, культурой, архитектурой Франции, отдать дань уважения ее сынам, обопатившим мировую культуру творениями своих рук. Версальский дворец не оставлял никого равнодушным, да и как может оставаться равнодушным человек к прекрасному, возвышенному, если у него есть душа, если его глаза видят и способны отличать красоту от пакости.

И как я был потрясен, когда спустя два месяца, дома, развернув газету, прочитал сообщение о том, что неизвестными людьми совершено гнусное злодеяние: в Версале произошел взрыв, разрушивший несколько залов, великолепных залов с бесценными для народа и истории экспонатами.

Люди без души и сердца, Осман, параноики и тритоны, решились поднять руку на историю своей страны. А если завтра они подложат бомбу в пантеон на Мон — Валерьен и взорвут память и движение Сопротивления? А если послезавтра поднимут в воздух памятник и вместе с ним память о сынах и дочерях Франции, погибших во Второй мировой войне? Как это понимать? Страна

свободной демократии... Я помню твои слова. На что общего с демократией имеют действия фашиствующих молодчиков, уничтожающих культурные ценности своего народа, его память.

Я долго не мог прийти в себя, прочитав об этом кошмарном акте. Я видел перед своими глазами Версаль, великолепный, искрящийся удивительной архитектурой Версаль, его парк, узоры оград и не мог, нет, не хотел представить над его крышей клубы дыма и огня, зияющие пустотой глазницы окон, разрушенные стены...

Вандализм исходит от фашизма, запомни, Осман. Вандализм — политика фашизма. Он набирает силу и приходит к власти, когда засыпает разум.

Уснувший разум рождает чудовище.

Я хочу, чтоб ты был, с теми, кто будит разум.

58

Вот и государственная граница. До нее оставались считанные метры. Десять, шесть, четыре... — считал Симон.

Что-то тяжелое ухнуло рядом. Он упал.

Когда Симон открыл глаза, мимо него вперед бежали солдаты, но не было их яростного «ура-аа», не было выстрелов автоматов, воя снарядов, оглушительных взрывов. Была удручающая тишина.

Что со мной, подумал Симон, и почему бой идет без стрельбы? Он попытался подняться, но свинцовая тяжесть в теле не дала ему оторваться от земли. Он заставил себя повернуться на бок, подтянулся на локте, поднял голову. Слева, справа, впереди лежали солдаты, кто-то пытался встать, кто-то тяжело поднимался и шел вперед вслед за бежавшими.

К нему подошла молоденькая медсестра, что-то спрашивая, но он ничего не слышал и ничего не мог ей ответить. Наверное, меня контузило, подумал он, провел ладонью по ушам, потом поднес ее к глазам: крови не было. Уши целы, обрадованно подумал он, точно, контузило.

По губам медсестры Симон видел, что она много и быстро говорит, только он не мог, не умел читать по движению губ. Наконец, медсестра нагнулась, обхватила его обеими руками подмышки и попыталась поднять, он отстранил ее, решив сам встать, оперся на одно колено, но острая боль пронзила тело и повалила его на землю. Медсестра нагнулась снова, и тогда Симон оперся на другое колено, оно оказалось здоровым. Он стоял на колене и никак не мог подыскать опору, чтобы подтянуть раненую ногу, но тут медсестра подставила плечо. Симон оперся на него, подтянулся, тяжело вздохнул и тут только почувствовал, как по хребту стекает ручейками пот, и волосы под шапкой намокли, и лоб покрылся испариной. Он виновато улыбнулся медсестре, а та, осторож-

но обняв его, повела, что-то безумолку говоря, и изредка заглядывая в глаза, и взгляд у нее был ласковый, успокаивающий.

Они шли медленно, очень медленно, обходя лежавших солдат.

Где-то недалеко шлепнулась мина. За ней вторая, уже ближе. Симон почувствовал, как что-то ускользает из — под его руки и он теряет опору. Он не мог поначалу сообразить, куда девалась медсестра и, балансируя руками, чтобы не грохнуться на землю, присел на здоровое колено, успев упереть в землю кулаки. Потом огляделся и оторопел.

Медсестра лежала навзничь.

Такая молоденькая, ей бы жить и жить, сказал Симон про себя, убило ее или ранило, прислушать бы к сердечку, да упаду, если нагнусь, причину ей боль... Как же тебе помочь, родненькая, и раны не видать... Да разве можно таких убивать...

И вдруг заорал во все горло:

— Санитар, санитар, сюда, помощи...

Он услышал голос, сильный, чистый, но не придавал значения тому, что слышит свой голос, перед ним лежала молоденькая девушка, выносившая на хрупких плечах с поля боя солдат, успокаивавшая их боль ласковыми словами и взглядом, и снова, но уже требовательно, властно закричал:

— Санитар, сюда, помощи...

А в нескольких шагах была государственная граница.

59

В большом каменном доме, казавшемся холодным и неудобным, Керим остался один. В хлеве еще не выветрился дух скотины, двор тут и там чернел катышками высохшего бараньего помета, но хозяева ушли.

Уж очень на неудобном месте оказался дом: между двух огней. На этом участке схлестывались интересы отрядов карателей и маки. Высокие каменные стены забора, да и самого дома были исцарапаны, пробиты, обожжены пулями и гранатами. Потому и оставили его старые Пьер и Мирей, опасаясь за жизнь трех маленьких внуков и невестки. Правда, каратели, охотившиеся за бойцами маки, не причиняли им зла, зная, что сын стариков погиб не в стычке с ними а во время охоты, сорвавшись с кручи, но и не жалели: после каждого визита они опустошали и без того скудные запасы хозяев, гадили во дворе, а в комнаты после их ухода нельзя было войти: такой тошнотворный дух стоял в них...

Вот и решились хозяева оставить дом и уйти в деревню, пока каратели вконец не обнаглели и не причинили им зла. Уже в сумерках парни из отряда маки пошли провожать их: один, ухватившись за оглобли, тащил тележку, набитую скарбом, другие

взвалили на спины мешки, не уместившиеся в тележку, а трое посадили на шею малышкой. Были с ними и Косовский, Петровичев, Татарадзе. Последний посадил маленькую голубоглазую девочку чуть ли не на голову и пел ей грузинскую песню.

— Пойдем, Керим, что ты вздумал оставаться один, — просили его, — ну, болит голова — и перестанет... Нельзя здесь оставаться одному...

— Не беспокойтесь за меня, ребята, завтра буду на месте, переночую и приду...

После двух контузий Керима часто беспокоили головные боли в темени и затылке, звон в ушах.

— Не проспи, — крикнул на прощание Татарадзе, — завтра вечером операция... Будем ждать тебя у замка Монпан. — И он, не оборачиваясь, поднял правую руку, зажатую в кулак.

Керим вышел проводить парней за ворота. Они гуськом уходили по тропе вниз и вскоре скрылись за густой стеной деревьев. Вокруг, куда ни кинешь взгляд, горбились горы.

Керим вошел в дом, постоял в темноте у стола, задумался, потом поднялся на чердак, опустился на сено, проверил автомат и, положив рядом, лег навзничь.

Внезапно сильно закружилась голова, казалось, сам Керим кружится в какой-то неестественной пустоте, уши заложило бешеным звоном... Керим схватился за голову, протяжно застонал от боли и впал в забытие.

Керим открыл глаза неожиданно. Перед ним, точнее над ним стоял немецкий офицер. Он ухмылялся, Керим бросил быстрый взгляд на автомат. Офицер сапогом наступил на него и покачал головой:

— Не балуйся, дом окружен. Я долбо пнался за тобой.

Керим не понимал по-немецки, и, не сводя глаз с ухмыляющегося лица, совершенно без страха думал о том, как неосторожно и глупо влип. Как слюнтяй, а не солдат, не сделав ни единого выстрела.

Рот офицера открывался и закрывался, губы его шевелились, он что-то говорил, даже, чувствовалось, говорил грозно, а Керим продолжал лежать: он принялся строить план, как выбраться из дома, отчетливо сознавая, что дом оцеплен, и внизу, в комнате, его поджидает не один десяток фашистов, потом вдруг почувствовал, что ему чего-то нехватает, недостает, что он лишен чего-то тяжелого... И внезапно понял, что голова перестала болеть, и она легка и ясна, как может быть у младенца.

— О ля-ля, — произнес он тихо фразу, выученную от друзей из маки.

Офицер удивленно взглянул на него, потом произнес:

— Говоришь по-французски?..

— Парле, парле, — сказал Керим, поднимаясь и отряхиваясь от сена, и добавил уже по-русски: — пойдём, свинья, вниз...

Он не видел, как вытянулось лицо у офицера, как поднялись удивленно его брови. Керим спустился в комнату, окинув взглядом карателей, сел за стол. Они стояли вдоль стен, с автоматами на груди.

Подойдя к столу, офицер сел напротив, впериw в него взгляд. Наконец, растягивая слова, со страшным акцентом произнес:

— Ты... русский?

— А что, не видно? — теперь уже ухмыльнулся Керим.

— Не... видно, — признался офицер. — Ты тёмный... смуглый, русские... не такие.

— Ты тоже тёмный, а одет в немецкую форму.

Офицер изобразил на лице довольную улыбку.

— Я! Я — это я!

Сюлько высокомерия было в его словах. Керим посмотрел ему в лицо, посмотрел пристально, и по каким-то чертам, неуловимым черточкам оно показалось ему знакомым. Не может быть, сказал он себе, где я мог видеть этого или такого человека? На передовой?.. Но там я их бил на расстоянии, не видя лиц... В газетах?.. Не припоминаю... А сколько в нем высокомерия, чванства. Сейчас рассмеюсь, честное слово, рассмеюсь...

— Если бы судьба... как говорят у вас, русских, была бы не индейка, я бы стал купцом, точнее — бизнесменом. Но... нет у меня такого счастья. Ничего, я его ухвачу... этими руками... — Он выбросил на стол руки с тонкими нервными пальцами. — Моё имя с тюркского... переводится знаешь как? Молния. Мол-ни-я... Я, как молния, уничтожу своих врагов...

— Жаль, ты мне не попался ни на восточном фронте, ни здесь, в Бюю, я бы тебе показал, как уничтожают врагов, — произнес Керим, глядя офицеру в глаза.

Тот ухмыльнулся.

— Я тебя не уничтожу. Тебя уничтожит гестапо.

Офицер поднялся.

— Вставай...

Керим не заставил его повторять, но он знал, был уверен, что в город не придет, и уверенность вселяла в него спокойствие. Он вышел во двор, окинул взглядом пустой дом, последнее свое пристанище, и пошел, засунув руки в карманы куртки. За ним шел офицер, дальше цепочкой вытянулись каратели.

— Ты из каких мест? — донёсся до него голос офицера.

— Чего спрашиваешь, ахмах,¹ из России, ведь знаешь.

— Ахмах твои родители и ты сам. Откуда знаешь слово?

¹ Ахмах — дурак (азербайджанский).

— Я забыл, что ты турок, — усмехнулся Керим.
— Откуда знаешь, спрашиваю?
— Здесь научился, в маки, — засмеялся Керим.
— Смейся, в городе не до смеха будет, — зло проговорил офицер.

Тропа поднималась вверх, справа от нее зияла пропасть. Внизу извивалась голубая лента Гаронны¹. Дальше идти не к чему, решил Керим и замедлил шаг.

— Мне надо по нужде, — сказал он промко.

— Пошел, пошел, в городе успеешь...

— Не дойду, лопнет...

Офицер чуть поразмыслил:

— Иди... только быстро.

Керим прошел вперед, растегнул брюки, нагнулся, незаметно вытащил из-за голенища сапога маленькую гранату. В их отряде многие носили за голенищами на всякий случай такие гранаты, похожие на сосновые шишки. Переложив ее в карман куртки, Керим застегнулся и пошел к офицеру, усмехаясь про себя: дурак ты и есть, не обыскал даже пленного. От большой радости, что поймал бойца маки? Или, может, не кадровый офицер, ума не достаает?

— Ну что, молнии подобный, кончился наш путь, — сказал он, подойдя вплотную к офицеру и глядя ему в глаза.

— Как кончился? Что ты болтаешь?.. — возмутился было тот.

— Кончился наш путь на земле, — прервал его жестко Керим, потом в одно мгновение вытащил из кармана гранату, выдержав чеку, подкинул под ноги офицеру и намертво схватил его за руки.

— Оставь, оставь меня. — Лицо его обьял ужас. — Помогите! — завопил он.

К нему устремились каратели.

— Аллах... Илдиримин джаны гедир², — истощенный крик вырвался из горла офицера.

Взрыв потряс воздух, эхо от него раскатилось над горами и полноводной и молчаливой Гаронной.

59

Джамал поднялся на веранду, опустил на пол мешочек с кукурузной мукой, устало сел на тахту и только сейчас обратил внимание на тонкий жалобный плач, доносившийся из комнаты. Что могло стрястись, спросил он себя, во дворе ни души, и этот надрывающий душу голос?..

1 Гаронна — река на юге Франции.

2. Илдиримин джаны гедир — душа покидает Илдирима (азербайджанский яз.).

— Жена, куда ты подевалась? — окликнул он громко.

Из комнаты вышла старуха с опухшими от слез глазами, горестно причитая:

— Где тебя черти носят, старший внук твой заболел, простудил легкие. Врач сказал, чтобы достали пенициллин, иначе умрет.

Из глаз ее полились слезы.

— Как умрет? — удивленно произнес Джамал. — Мой внук умрет от какой-то простуды легких? А для чего тогда врач?

— Нету пенициллина, нету лекарств, война ведь идет...

Из комнаты вышла старшая невестка, вся заревавшая. Она посмотрела в настороженные глаза Джамала, проговорила:

— Уснул, наконец, весь горит, / не дышит — задыхается, — не справившись с собой, заскулила, закрыв лицо руками, потом заплакавшись, произнесла: — отнеси мои ковры на базар, папа, воскресный день сегодня, ты их продашь, отнеси, папа, очень нужны деньги на лекарство, иначе мальчик умрет...

— Где ты купишь этот проклятый пенициллин? — проговорил Джамал, поднимаясь с тахты.

— Врач обещал помочь... Она знает, кто может достать...

— Ну что ж, выноси, дочка... Вот время-то злое какое: одни горе пьют с водкой и кукурузной лепешкой, другим и горе ни по чем, и боль людская заработок дает... Тьфу.

Невестка вынесла ковры, которые принесла из дома отца, бросила их на пол. Джамал сложил два, взвалил на плечи.

— А этот оставь, доченька. Красивый да и тонкой работы, персидский. Пока продам два, а там видно будет.

И он пошел спешно, пока воскресный базар был в разгаре.

Ковры у него купили: уж очень юны были искусно сотканы. Азизов понимал толк в коврах, приобретая их для дома и на приданое дочери.

Невестка тепло закутала сына в одеяло и помчалась к врачу вместе со овекровью; та еле попевала, семена шажками, широко размахивая руками. Вернулись они успокоенные.

— Ну что там,, — спросил Джамал. — Как мой внук?

— Сделали укол, легче стало, — сказала невестка, на лице ее появилось подобие улыбки.

— Укол? Один укол? Всего один укол? — удивился Джамал.

— Второй сделаем вечером, сама придет к нам.

Джамал задумался, потом поправил шапку на голове и, нахмурив брови, бросил взгляд на жену:

— Ну, вот что, старуха, я принес муку, кукурузную, приготовь что-нибудь вкусное на вечер...

— Вкусное, — передразнила жена, прервав мужа, — себя, что-ли, добавить вместо мяса... вкусное...

— Не ворчи, жена, как тебе не стыдно, праздник ведь, октябрьский праздник.

— Нет, старик, ты вовсе рехнулся, — вплеснула она руками, — не сегодня ведь он, праздник.

— Ну и что, а мы будем отмечать несколько дней и за Симона, и за Керима, и за Гаврила, у нас не праздник, а праздники... И ты не прекословь мне, устал я слушать твои ворчанья... Себя, что-ли, добавить вместо мяса... Ишь как татароторила языком, красиво как. Кому нужно твое мясо? Вон я сколько принес: и легкие, и печень, и всякие там внутренности, на кухне оставил, это не мясо? Разленилась совсем. Еще раз услышу грубое слово — разведусь, женюсь на другой.

— Ты что так разошелся? — изумилась жена.

Джамал пригладил ладонью усы, бородку, заложил руки за спину и медленно, и степенно пошел к воротам, бросив из-за плеча, не оборачиваясь:

— Чтобы вечером сюфре было накрыто.

Джамал шел по улице задумчивый, глядел на редких прохожих с ласковой улыбкой, кивком головы отвечал на их приветствия, тихо без слов напевал песню. Он был одет во все темное — телогрейка, брюки, заправленные в шерстяные носки, истоптанные ботинки, неизменная шапка — все это было одного цвета, или почти одного. И на этом фоне выделялись белоснежная квадратная бородка и усы. Несмотря на преклонный возраст, а Джамал переступил порог седьмого десятика, он продолжал работать. Молодые мужчины города ушли на фронт, подростки и женщины заняли их места в колхозах и на заводах. Джамалу было совестно сидеть дома сложа руки и он устроился в «Утильсырье». Оно работало для фронта, и это успокаивало Джамала.

Поравнявшись с кинотеатром «Родина», который сейчас был переоборудован под госпиталь, Джамал остановился, сдул пыль со ступеньки, усталое опустил, положил шапку на колени, вытащил из кармана фуфайки четки и стал медленно перебирать их. Здесь к концу дня на час-другой собирались его сверстники поделиться новостями, но пока никого не было. По тротуару лениво прохаживались раненые.

— Жернова этой войны все еще крутятся, — сказал про себя Джамал. — И время тает, и солнце истынет, и душа устает — всему бывает предел... Должны же остановиться жернова этой войны.

Откуда-то издалека донесся чеканный стук. Наконец, из-за угла на центральную улицу вышла колонна военных. Она шла без песни, но бодро, и в четком шаге солдат чувствовалась сила, уверенность.

Колонна прошла и снова на улице стало тихо, лишь изредка

слышалось, как женщины бранили детей, да лугливо лаяли собаки.

К кинотеатру подошел высокий, сухопарый Азизов. Присев на ступеньку рядом с Джамалом, он произнес:

— Добрый вечер.

— Вечер добрый. — Джамал бросил на него ленивый взгляд.

— Не нравится мне твой цвет лица.

— Смерть увидел? Пора и мне на покой...

— Глупые слова говоришь. Тебе еще радовать наших детей...

— Нет, не глупые. Когда слышишь, что умирают молодые, хочется самому умереть. Уходят из жизни, не выкусив ее сладость и горечь, разве это справедливо?..

— Кто умер? — спросил Джамал.

— Сына Гюршюма убили.

— Сына Гюршюма убили, — повторил Джамал, аккуратно надел шапку, тяжело встал и, заложив руки за спину, поплелся по улице.

Двор Гюршюма был полон людей. Джамал присел на деревянную лавку, прищурившись, стал искать Гюршюма, но тот сам подошел, опустился рядом.

— Осиротел, некому будет меня и в могилу опустить.

Из глаз старика выкатились слезы и поползли по тлубоким морщинам.

— Что сказать тебе, — произнес Джамал, — и усложнить нечем, слов нет никаких. Велико твое горе, оно будет с тобой до последнего вдоха твоего. Терпи и живи. Такова участь человека.

— Тяжело, сердце разрывается, — Гюршюм беззвучно заплакал. — Ничего не значит человек, ничего — беспомощен и слаб перед дикостью и злобой...

— Но в его руках мужество. Разве ты забыл, как мужество помогало нам вынести беды?

— Твои слова верны, Джамал, но горе мое так велико, что не хватит океана мужества, чтобы его затопить.

— Не падай духом, брат, надо жить, надо вырастить внуков, ради них надо стараться заглушить свою боль.

— Разве ее заглушишь? Она надрывает сердце.

— Спрячь боль в себе, не показывай внукам. Она не должна омрачать жизнь малых.

Утомленный, удрученный возвращался Джамал домой. Не желая омрачать настроения домочадцам, у ворот дома он остановился, присел на лавку и сидел некоторое время в одиночестве, пока другие думы и заботы не вытеснили из его сердца горе Гюршюма.

На дворе было уже темно, когда все сели за стофре: три женщины и Джамал. Внуки спали.

На самой середине сюфре горела керосиновая лампа. Вкусно пахло мучери¹. В большой тарелке лежали куски овечьего сыра, в плоской миске асидо².

— И это сюфре ты считаешь вкусным? — снисходительно проговорил Джамал, усмехнулся и иронически промолвил: — Эх, женщина, женщина...

Потом отломил кусок мучери, взял сыр и принялся за еду. Женщины молча последовали его примеру.

Джамал налил себе в стакан белого вина, потом глянул на жену:

— Где еще стаканы?

— Какие стаканы? Пей и молчи.

Но младшая невестка уже вскочила, сбегала за стаканами. Джамал налил всем.

— В этот праздничный день в дом Гюршюм пришла беда. Сына убили. — Он замолчал. — Пусть в доме Гюршюма с этого дня будут одни радости.

Джамал выпил, женщины пригубили стаканы, вино показалось вкусным, и они выпили до доньшка. Вдруг жена Джамала спохватилась, встала из-за сюфре и быстро засемила во двор.

— Куда она? — удивился Джамал.

Невестки переглянулись, загадочно улыбнулись, опустив головы, но тут на веранду поднялась старуха, неся увесистую большую оковороду, которая продолжала шипеть, распространяла ароматный запах жареного.

Лицо Джамала расплылось в улыбке и он довольный проговорил:

— Ну вот и вкусное. А собирался разводиться с тобой. Да где я еще найду такую искусную хозяйку. Дай-ка попробую, что ты там нажарила...

60

Жена Османа почувствовала себя плохо. Острой болью схватило сердце, потом оно долго щемило и ныло. Подступила тошнота.

Что-то случилось, наверное, с моим мальчиков, подумала она про себя.

В ней теплилась надежда, что Керим жив.

Она семенящим шагом вошла в ванную комнату, умылась, причесалась слабыми, дрожащими руками, потом прошла в спальню; надела чистое белье, легла в кровать. Накрывшись одея-

1 Мучери — лепешки из кукурузной муки.

2 Асидо — халва из муки.

лом, она свернулась калачиком, представила Керима, маленького Керима, каким он остался в ее памяти, мягко болезненно и виновато улыбнулась и уснула.

Это был ее последний сон. И вечный.

61

День был ясный. Над Парижем было синее небо.

Мы выехали в аэропорт Орли с запасом времени, зная о заторах и пробках на дорогах, когда автомобили движутся медленнее пони в зеленых парках. Но как ни парадоксально, приехали мы на приличной скорости и, чтобы убить время, отправились бродить по зданию аэропорта.

Когда мы вернулись к главному входу, я увидел вас: тебя, Осман, и твоего отца. Безупречно одетые, вы выделялись манерой держаться непринужденно, с достоинством.

— Пришли тебя проводить, племянник, — сказал твой отец, делая упор в интонации на последнее слово. — Если молодые не считаются со стариками, приходится старикам идти на поклон...

— И преподать урок нравственности, — закончил я его фразу. — Простите, никак не мог выкроить время.

— Это все мелочи, — произнес твой отец. — Ты доволен своей поездкой?

— Доволен, — ответил я. — Даже если бы ничего интересного из нее не вынес, остался бы доволен тем, что встретил Османа.

— Неужели? — Лицо твоего отца выразило неподдельное удивление.

— Вполне серьезно. По крайней мере оторванная от Османового дерева ветвь не высохла. И я знаю, что у меня есть двоюродный брат, и мне кажется, он честный парень...

Твой отец долго глядел на меня. Я видел, я понимал: что-то его мучало. Наконец, он решил:

— Наш дом стоит еще? Его не сломали?

— С утра до вечера верещит детскими голосами,

— Что так? — Не понял он.

— Детский сад в нем.

— Детский сад... А дом Джамала стоит?

— Куда ему деться, стоит, конечно.

— И живут в нем?

— Гаврил живет, младший сын Джамала.

— Это, я думаю, тот, с которым я дрался. Мы дрались попарно, Керим со старшим, я с младшим. — Твой отец улыбнулся. — И всегда они нас лупили. Мы старались изорвать на них одежду, и без того худую, а они нас кулаками лупили. Помню я эти ку-

личные бои, помню... — Он задумался, ушел в воспоминания, потом спросил. — Их отец давно умер?

— Лет двадцать назад.

— Долго жил...

— Девяносто с лишним... Живучий был.

— Наш семьдесят три протянул, но не болел ни разу. Ты приезжай, Аслан, нам надо часто видеться, не терять из вида друг друга.

— Вы бы сами приехали, поглядели, какой стала земля отцов и дедов...

— Какой стала?

— Вся утопает в садах и виноградниках.

— Рад был бы... — Твой отец неопределенно пожал плечами.

— Вон сколько туристов едут в нашу страну, а в Дербент... кого только вы там не увидите... Решитесь — и приезжайте. Родню повидаете.

— Приезжай, Аслан, я буду тебя ждать, — подал и ты голос.

— В следующем году я, очевидно, полечу в Копенгаген, а оттуда в Осло.

— Я примчусь на машине. Только сообщи заранее о дне поездки.

— Куда он тебе напишет? На имя президента? Ты ему адрес свой дал? — Засуетился твой отец.

— Адресами мы давно обменялись, — засмеялся ты.

Объявили посадку на наш рейс.

— Ну, до свидания, Османовы, приезжайте на свою родину, поглядите на улицы и магалы, по которым ходили деды, на кладбище, где покоится их прах. Приезжай, Осман, тебе это обязательно нужно, человек должен знать свои истоки.

Мы с тобой крепко пожали друг другу руки. Потом я повернулся к твоему отцу. Глаза его были влажны. Он крепко обнял меня за плечами, прижался лицом к моему лицу, отстранился и прошептал:

— Иди. Аллах тебе поможет.

Пройдя таможню, я оглянулся.

Твой отец и ты смотрели в мою сторону.

Спустя некоторое время самолет Ил — 62 м оторвался от взлетной полосы и взмыл в густое синее небо.

Я был уверен, что твой отец и ты стояли на площади у аэропорта, рядом со своей машиной, и провожали взглядом наш Ил.

Выйдя из Юхары Гапы¹, мальчишки побрели по пыльной дороге. Они были разных возрастов: от пяти до тринадцати—четырнадцати лет. Старшие шагали впереди, младшие замыкали шествие. День был весенний, теплый. Пыль, поднятая первыми, длинным широким шлейфом тянулась назад.

— Сколько же можно идти, — раздался звонкий голосок. — Идем, идем, а куда идем? Он все знает. А что он знает? Он воровать нас ведет — вот что он знает.

— Как воровать — замедлили шаг последние.

— А вот так — воровать...

— Что ты слюни распустил, сопляк? — Один из тринадцатилетних подошел к мальчишке со звонким голосом. — О чем пишешь?

— Сам пискун. Я говорю.

— Ха-ха, глядите на него. Не задирай носа, а не то придавлю, как таракана.

— Уйди, а то стукну...

— Сам уйди...

Мальчишки принялись толкать друг друга, потом вцепились и покатились по дороге. Началась потасовка, больше походившая на кучу малу. Старшие, не сумев совладать с младшими, а последних было вдвое больше, поднялись, отбежали подальше и, отряхнувшись от пыли, пошли, бросив на прощанье:

— Ну и сидите, и сосите палец.

Малыши так и поступили: сели на обочину и стали глядеть на проезжавших.

— А как они будут воровать? — заинтересовался один из них.

— Как всегда, — отвечал мальчик со звонким голосом. — Сядут у мельницы и будут жалко глядеть на дядек. Там много подвод заезжает и выезжает, и дядьки сидят на подводах. Они часто кнутами шелкают, да срашно так, со свистом. И никто не подаст макухи. Тогда мальчишки подходят к воротам и начинают хныкать, чтобы сторож сжалился. Сжалится, бросит несколько кусков...

— Бросает?..

— Бывает, и бросит.

— А ты-то откуда знаешь?

— Ходил я с ними как-то, да стыдно потом стало.

— Это не воровство, — протянул один из малышей,

— И не лучше воровства, — подытожил мальчик со звонким голосом. — Стыдно бывает очень.

¹ Ю х а р ы Г а п ы — Верхние ворота.

Издавая протяжный скрип, на дороге остановилась ветхая подвода. На облучке сидел дед в папахе, на его лице выделялись маленькие глазки и большие пышные усы, которые тянулись к ушам.

— Что, дети, устали? Садитесь, подвезу до города.

— А ругать нас, дедушка, не будете? — спросил мальчик со звонким голосом.

— За что ругать? — удивился дед.

— Ваша кляча нас не сдвинет с места.

— Кляча?! Хе-хе-хе... — дед забился смехом, постукивая себя ладонями по коленям. Наконец, успокоившись, он спросил:

— Ты чей такой заковыристый? Как звать-то?

— Джамал я, сын Симона.

— А ну, сын Симона, и вы все — садитесь быстро, я на базар спешу.

Ребята, как воробьи, сорвались с места и расселись на мешках. Дед помахал в воздухе кнутом, несколько раз небожно ударил лошадь, и телега заскрипела.

— А какого Симона ты сын? — спросил дед у мальчика.

— Симона сына Джамала, — ответил тот.

— Так ты внук Джамала? Джамала из Дербента? Пути господни ведут нас по крупу. Знаю я Джамала, хо-ро-шо знаю Симона, а теперь вот с постреленком его познакомился. А что вы тут делали, как здесь оказались?

Джамал опустил голову.

— Ну — ну, рассказывай, не стесняйся.

— На мельницу шли. Макуху хотели выпросить.

— Что это еще такое — макуха?

— Макуху не знаете? Ее еще называют жмых.

— Тыфу, — дед сокрушенно покачал головой. — Из-за нее вы на мельницу шли?.. И устали... Эх, война проклятая, чем ты детей наших кормишь...

— Она вкусная, — сказал Джамал. — Ее Аслан любит.

— А это кто еще?

— Мой брат. Дяди Керима сын.

Керима, сына Османа, догадался дед.

— Как он там, Керим, воюет, письма пишет?

— Воюет, дедушка, но писем давно нет.

— Это нехорошо, что давно нет.

— Да, дедушка все тревожится... А от папы пришло. Ранен был, долго лежал в госпитале.

— Война, будь она проклята, — произнес дед. — От нее горе и страдание людям.

Подвода въехала в Юхары Гапы и покатила по булыжной мостовой.

— Дедушка, мы приехали, — загомонили мальчики.

Дед остановил лошадь, слез с облунка:

— Подождите, дети, я вам что-то дам.

Он развязал один мешок, засунул в него обе ладони и вытащил пригоршню кукурузных зерен.

— Ну-ка, расстегивайте ворот рубахи, насыплю вам за пазуху. Принесете домой, пожарите на сковороде, — вкуснее и красивее не придумаешь. Как бутоны цветов раскрываются от тепла солнца, так и они лопаются и пушатся от огня на сковороде, а вкус... Вы что, не ели жаренной кукурузы?

— Ели, дедушка, спасибо, — и мальчики разбежались, поддерживая животы снизу двумя руками: дабы из рубах не высыпались зерна.

— А ты сиди, — обратился дед к Джамалу. — Мне все равно мимо твоего дома ехать.

У площади дед остановил лошадь.

— Скажи-ка, постреленок, поясок твой хорошо держит брючки?

— Хорошо, — удивился Джамал. — А что, падают разве?

— Расстегивай рубашку, насыплю тебе и брату кукурузы.

За пазуху посыпались золотистые зерна.

— Хватит, дедушка, у меня уже не живот, а коровье вымя...

— Хе-хе-хе, вымя, говоришь? Тогда хватит. Возьми-ка еще эти вкусные лепешки. — Он хитро улыбнулся и, вытащив из-под мешков, протянул мальчику несколько кусков макухи. — Раз уж любите, ешьте на здоровье. Да передай деду привет. Так и окажи: просил передать привет Хидир из Магарамкента, у которого купец Осман большого сына Керима оставлял. Не забудешь, постреленок?

— Не забуду, дедушка. Спасибо.

— Ну, я тебя подвез, а теперь поеду на базар.

— Зашли бы к деду Джамалу, дедушка, — раздался вслед звонкий голос мальчика.

Дед обернулся, теплая улыбка осветила его лицо:

— Привет передай, внучек, смотри, не забудь, обя-за-тель-но...

И щелкнул в воздухе кнутом...

63

Зазвонил телефон.

Назым поднял трубку.

Мсье Назым Османов? — Голос был уверенный бодрый.

— Слушаю, мсье.

— Говорит Жирардо, комиссар полиции.

— Очень приятно, мсье Жирардо, давно не видел вас в своем магазине.

Не премину воспользоваться приглашением, — в трубке послышался довольный смех. — А сегодня я прошу вас зайти ко мне, да чем раньше, тем лучше.

— Что-нибудь серьезное? — Назым за какие-то доли секунды перебрал с десятков причин, по которым комиссар мог его пригласить.

— Как сказать... — Голос некоторое время молчал. — Ваш сын находится у нас. Забирайте его, драчуна своего...

Что мог натворить Осман, мучительно думал Назым, выжимая из «Симки» газ, не думаю, чтоб он связался с дурной компанией, приятели его из состоятельных семей, да и привычек у него таких, ну как сейчас называют — экстремистских не наблюдал. Надо женить его, перезрел он у меня. Промашку дал я тогда, не обвенчал его с внучкой Сеттерхана. Красивая девушка, из состоятельной семьи. Подумаешь, отец ее помогал какой-то террористической организации, ну и черт с ее отцом, не на нем же ты женишься, дурень эдакий. Какой принципиальный вырос...

Машина летела на бешеной скорости. Только подъезжая к городской полиции, Назым обавил скорость.

Жирардо встретил его приветливо, даже дружелюбно. Теплые отношения, сложившиеся между Османом и прежним комиссаром по совету дальновидного Сеттерхана, продолжались и между Жирардо и Назымом. Конечно, каждый имел от этих отношений свою выгоду.

Пока они прикуривали сигары, предложенные любезно Назымом, в кабинет комиссара привели Османа. Назым поднялся из кресла:

— Жду у себя, мсье, и безотлагательно.

Жирардо, легко подняв свое тучное тело, проводил их до дверей.

— Не премину, мон шер, не премину...

Выйдя на улицу, Назым зло взглянул на Османа.

— Ты что меня позоришь, шенок? До тебя нога Османовых не ступала в полицейский участок. Садись...

Он нервно завел машину, вырулил на дорогу.

— Что ты натворил?

— Ничего особенного. С правыми пришлось драться.

— С ке-е-ем? — лицо Назыма исказилось. — Ты куда суешься, ты понимаешь, в какое дело суешься?

— Никуда я не суюсь... и не совался. Шла колонна рабочих, на них бросились молодые фашисты.

— А тебе-то какое до них дело?

— Я не мальчишка и перестань меня поучать. Я должен защищать родину. И ее народ.

— Родину? — Назым усмехнулся. — Твоя родина не здесь, сопляк, она там, далеко на востоке...

— Перестань оскорблять, отец, — вскипел Осман, но сумел взять себя в руки. — Почему дед и ты защищали эту родину?

— Родины этой и той не бывает, она у человека одна. Эта земля дала нам пристанище, а помогали мы честным людям потому, что они боролись с фашизмом.

— Вот, вот, с фашизмом, — перебил Осман, — а эти, по-твоему, не фашисты?

— Они воевали с фашизмом, — продолжал Назым, словно не слушая его, — который угрожал всей Европе, и в первую очередь земле, на которой родились наши предки и мы. Твоя родина там, запомни навсегда, там. Как бы я хотел, чтобы ты съездил туда... — проговорил он вдруг задумчиво.

— Поедем вместе, отец. Что нам мешает поехать?

— Может, вместе, а может сам поедешь, один. Я почти забыл ее, она выветрилась из моей памяти. Бывает, временами хочется плюнуть на все дела и поехать, взглянуть. Но тут же сковывает страх: что осталось от старого, что принесло новое...

— Ты не знал ни старого, ни тем более нового, — засмеялся Осман. — Тебе это не угрожает спазмами и сердечными болями.

— Не шути зло. Поедешь сам, у тебя там родственники живут. Но прежде я тебя женю.

— На прелестной дочке мерзавца? — улыбнулся ехидно Осман.

— Если согласишься, женю на мерзавке прелестного отца.

Они взглянули друг на друга и расхохотались, но сквозь смех Осман прокричал:

— И на такой не согласен.

64

Я вспоминаю плас 'Конкорд, куда мы вышли, прогуливаясь, накануне моего отъезда. Огромную, просторную чашу площади Согласия. Искрящийся великолепный фонтан, каменные статуи, олицетворяющие города Франции. И тебя. Тебя, внука моего деда Османа.

Красивый, черноволосый мужчина, ты сидел у подножия статуи. И смотрел на меня. В твоём взгляде не было ни тоски, ни вопроса. Но я знал; для тебя все узнанное, выслушанное от меня было серьезно, слишком серьезно...

Вспоминаю тебя, а перед глазами лицо Симона, Гаврила, их

детей... Я твой брат, двоюродный брат, в наших венах течет одна кровь, а я не мыслю себя без этих людей, без их голосов, без их забот обо мне, без их мыслей и дум. Судьбе было заманчиво — заманчиво или потребно? — оторвать семя от Османова дерева и бросить его — почему бросить — оставить на почве родной земли, и оно, семя, не пропало, и дало жизнь молодому дереву, от которого пошли побеги, ветви... А Османово дерево стало чахнуть.

Что тебя ожидает? Дед Осман все лучшее — любовь к своему отечеству, тоску по родному дому и языку, чистую совесть — унес с собой. Все лучшее, доброе, честное, что он заронил в сердце сына Назыма, тот унесет тоже с собой. Твой отец пытается воспитать тебя в духе Османов, но сумеешь ли ты сохранить их нравственные ценности и передать детям своим?

Что бы тебя ни ожидало впереди, я хочу, чтобы ты был искренен в чувствах, человечен в поступках, решителен в действиях. Чтобы ты оставался честным и совестливым человеком. Я говорю с тобой, Осман, надеюсь ты слышишь меня.

Я рад, что встретил и узнал тебя. Но еще больше рад тому случаю, когда больного маленького Керима вынуждены были оставить в семье бедняка. Я рад тому, что моего отца воспитал дед Джамамал, как и своих сыновей, и вырастил честным и мужественным человеком. У тебя есть возможность узнать о его последних месяцах жизни, последнем дне, и ты найдешь в себе силы склонить голову перед его мужеством. Моя вера в отца беспредельна.

Ты слышишь меня, Осман? Я заклинаю тебя именем деда Османа: узнай о судьбе своего дяди Керима на земле Франции, о его последнем дне. Это нужно мне, тебе, нашим детям.

Посети землю своего деда, посмотри на бывший его дом, походи по старым магалам, поднимись на крепостные стены Нарын-Калы, откуда открывается величественная панорама, на крепостные стены Нарын-Калы, от которых откатывались полчища иноземных завоевателей, и может быть в твоей душе, в сердце проснется хотя бы маленькое чувство любви к родине... Если не твоей, то хотя бы родине деда... Если проснется — я буду безмерно счастлив.

Феликс Михайлович Бахшиев

МОНОЛОГ НА ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ

Редактор С. М. Муртузалиева

Художник Г. Р. Балиев

Худож. редактор Э. В. Лубьянов

Техн. редактор С. К. Амирханова

Корректор А. М. Бекбулатова

Дагестанское книжное издательство Министерства информации
и печати РД
367025, Махачкала, ул. Пушкина, 6

ИБ 2818

Сдано в набор 02.03.93. Подписано в печать 18.06.93. Формат 60x84^{1/16}.
Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,6.
Уч.-изд. л. 12,0. Тираж 500. Заказ 40. Цена договорная.

**Типография им. С. М. Кирова Министерства информации
и печати РД
367025, Махачкала, ул. Маркова, 51**

